

The image is a full-page illustration of a battle scene. In the foreground, a Soviet T-34 tank is shown from a front-three-quarter view, moving through a field of tall, dry grass. The tank's turret is prominent, featuring a red star emblem. Behind the tank, a massive, intense explosion erupts, filling the middle ground with bright orange and yellow flames and thick, dark grey smoke. In the upper portion of the image, several aircraft are engaged in aerial combat. One plane in the top left is firing a missile or rocket, leaving a long, glowing orange trail. Other biplanes and fighters are scattered across the sky, some appearing to be in the process of being destroyed or falling. The overall atmosphere is one of intense action and chaos, with a color palette dominated by the fiery oranges and yellows of the explosion, the greys of the smoke and tank, and the blues and greys of the sky.

Алексей Рожков

ПОВЕСТЬ О  
РУССКОМ УЧИТЕЛЕ

Алексей Рожков

**Повесть о русском учителе**

«Автор»

2026

## **Рожков А. А.**

Повесть о русском учителе / А. А. Рожков — «Автор», 2026

Реальная история, от которой стынет кровь, написанная по биографическим дневникам заслуженного учителя СССР, участника ВОВ, прошедшего сквозь ад XX века. Он родился четырнадцатым ребёнком в семье и видел нищету царской России, хаос революции, вымирание целых деревень, смерть от голода и болезней братьев и сестёр. Он пережил Первую мировую, Гражданскую войну, голод в Поволжье, коллективизацию, скитания беспризорника, репрессии 37 года, страх стука в дверь и террор НКВД. Он стал политруком в Великую Отечественную, попал в кровавую мясорубку под Воронежем, видел гибель 5-й танковой армии и поднял в последний бой пехоту под свинцовым дождём фашистских пуль, получив ранение пулемётной очередью через всё тело. Эта книга — реальная история. Через все ужасы эпохи её герой не просто прошёл — он выжил, чтобы стать учителем, учить детей и строить новую жизнь. Правдивая хроника века катастроф, боли, потерь и негибаемой воли к жизни, записанная очевидцем.

© Рожков А. А., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

От автора	5
Часть первая	6
Глава 1	6
Рождение Кобелёвки	11
Глава 3	13
Глава 4	16
Глава 5	18
Глава 6	21
Глава 7	24
Глава 8	27
Глава 9	30
Глава 10	32
Глава 11	35
Глава 12	39
Глава 13	43
Глава 14	45
Глава 15	50
Глава 16	56
Глава 17	59
Часть вторая	63
Глава 18	63
Глава 19	65
Конец ознакомительного фрагмента.	69

# Алексей Рожков

## Повесть о русском учителе

### От автора

Эта книга родилась из сокровенных записей — личных воспоминаний Петра Лукьяновича Рожкова, заслуженного учителя СССР и участника Великой Отечественной войны. Перед вами — не просто литературная обработка исторических материалов, а попытка сохранить живую память о человеке, чья жизнь стала воплощением стойкости, мудрости и беззаветной любви к Родине и народному образованию.

Воспоминания Петра Лукьяновича — это хроника грандиозных событий 19-20 веков в масштабе страны, честный рассказ очевидца о Первой мировой, Гражданской войне, голоде в Поволжье, жизни в селе, становлении Советской власти, фронтах Великой Отечественной войны и мирной жизни в послевоенные годы, раздумья о педагогике и человеческом предназначении. В этих строках — дыхание эпохи, в которой героизм был не парадным жестом, а ежедневной борьбой: за жизнь, за справедливость, за будущее своих учеников и страны.

Работа над книгой велась в несколько этапов. Литературная обработка выполнена, мной, писателем Алексеем Рожковым, внуком Петра Лукьяновича. Сохраняя подлинность авторского стиля дневников, я структурировал записи, гармонизировал стиль в сочетании документальной точности с художественной выразительностью. Научное редактирование осуществлено Владимиром Петровичем Рожковым, профессором, доктором философских наук, сыном Петра Лукьяновича. Его вклад заключался в проверке фактов с опорой на исторические источники и дополнении их семейными воспоминаниями и архивными материалами.

Мы сознательно избегали «подгонки» текста под современные шаблоны. Главная цель — передать сквозь время голос Петра Лукьяновича во всей его искренности: его сомнения, веру, боль потерь и радость маленьких побед. В этих страницах — не монументальный образ «героя», а портрет живого человека, который прошёл войну, посвятил жизнь воспитанию детей и оставил нам бесценное наследие: умение оставаться человеком в любых испытаниях.

Надеемся, что эта книга станет не только данью памяти Петру Лукьяновичу Рожкову, но и поводом для размышлений о преемственности поколений, ценности исторической памяти и роли личности в истории.

*С уважением,  
Алексей Рожков и  
Владимир Петрович Рожков*

*Вам, родные мои,  
оставляю я на память эти строки.  
Пусть они хранят частицу моего сердца  
и память о наших корнях.*

## Часть первая

### Детство

#### Глава 1

#### Родное село

Рождение моё пришлось на роковой тысяча девятьсот четырнадцатый год — за два месяца до начала Первой мировой войны. В бедном, захудалом селе Моховом Саратовской губернии, четырнадцатым ребёнком в многодетной семье, я пришёл в мир, который уже готовился к потрясениям.

О, как краток был миг моего детства, как далёк он был от представлений о безмятежных детских годах! Я не успел ощутить его светлой радости, не познал неспешного течения дней, когда каждый час полон открытий, когда сердце верит в бесконечность счастья. Не дано мне было в полной мере узнать и семейного тепла — той тихой, надёжной опоры, что должна сопровождать человека с первых шагов.

Сразу после моего рождения грянула Первая мировая империалистическая война. Она обрушилась внезапно, как буря, как стихийное бедствие, перед которым бессильны и человек, и целый народ. Миллионы жизней унесла она, переписала судьбы, изменила облик России, что веками жила своим особым укладом. Война стала рубежом, который разделил прошлое и будущее, она положила начало новой эпохе, «новой эре», как её будут называть потом.

Моё родное село Моховое, где мы жили, до сих пор в народе носит историческое название «Хори» или «Хорёвка». Рядом с ним, на небольшом расстоянии, лежат другие похожие поселения: на востоке — «Суслы», на западе — «Ежи». Эти названия звучат как загадки, переданные сквозь века. Любопытно, почему первые поселения в этих местах называли именами грызунов? Старожилы не могли дать исчерпывающего ответа. Они лишь пожимали плечами, вздыхали и говорили: «Так было всегда. Так решили наши деды, так передали нам».

Но есть рациональное объяснение этому необычному факту — будто бы в далёкие времена здесь применяли особые способы заселения и обработки земли. Эти рассказы туманны, обрывочны, словно эхо далёкого прошлого, но они дают самые правдоподобные ответы о сути названий древних степных поселений. Люди, прибывавшие с семьями в пустые степные районы, не осваивали их сразу, а сначала присматривались, изучали ситуацию, запоминая особенности местности. Затем они строили землянки в местах, где было много степных крупных и мелких зверей, грызунов. Оттуда и пошли эти странные названия. Наличие грызунов говорило о возможности обработки земли и давало надежду на охоту.

Переселенцы, жившие семьями, образовывали стойбища — места совместного проживания, где вели хозяйство, пасли скот, занимались промыслами. Широкие степи, покрытые серебристыми травами, без присмотра быстро дичали — ветер гнал по ним песок, а солнце выжигало зелень до белизны. Но наши прадеды не боялись труда: они буквально вгрызались в почву, рубили кустарник, рыли землянки и ставили их кучно — так рождались первые становища. Пропитание добывали охотой: подстерегали степных сурков, лисиц, промышленляли мелкую дичь и даже грызунов — всякое шло в дело, когда вокруг ни души на много вёрст.

Наш род — Рожковых (Тяпкиных по материнской линии) — переселился в эти края из Симбирской губернии. Наши предки обосновались в Заволжской степи, где вели кочевой и полукочевой образ жизни. Это произошло в царствование Екатерины II, в конце XVIII — начале XIX века, когда волна переселенцев потянулась за Волгу в поисках свободной земли и воли.

Помню рассказ о прадеде, Тяпкине Макаре, это мой дед по материнской линии, родившийся в 20-х годах XVIII века. Был он мордвин по крови, человек суровой закалки. Бедность не сломила его: хоть и тесна была изба, да широка душа — детей у него было много. Но нужда бывает сильнее воли: случалось, не выдерживал Макар бремени семейных забот и надолго уходил из дому — бродяжничал, скитался по трактам, перебивался случайными заработками. Возвращался — худой, обветренный, с глазами, видевшими дальние края, — и снова брался за плуг. Его дочь, моя мать, Александра Макаровна, имела множество братьев и сестёр. Одни жили рядом с нами, других судьба разбросала по свету. Из этих судеб и сложился наш род — не знатный, не богатый, но крепкий корнями, упрямый, живучий...

Деда и прадеда наши остались для нас, потомков, неизведанными и священными — словно тени образов на стене, чьи черты размыты временем. Предки по отцу моему, Лукьяну Парменовичу, являются для меня почти совершенно бесследными, неизвестными. Лишь несколько отрывочных историй слышал я от отца и братьев о деде, Пармене Рожковом, и его предшествующих поколениях.

Если в семье Тяпкиных, по материнской линии, все были кареглазыми шатенами, то в роду Рожковых, по отцу, из поколения в поколение рождались дети с ярко выраженной славянской внешностью: светловолосые, с голубыми глазами. Но не только внешность выделяла их среди прочих: от рождения они обладали недюжинной физической силой.

О силе Рожковых в округе ходили легенды. Однажды во время сильного ветра сорвало крышу с избы у соседа. Тот в отчаянии схватился за голову — где взять людей, чтобы поднять тяжёлую конструкцию? Пармен, проходивший мимо, молча подошёл, оценил взглядом положение дел, встал в притворок, затем ловко подставил под крышу плечи, подлез под проём и... просто поднял её на плечах.

— Держу! — громко крикнул он. — Тащите доски, крепите опоры!

Два часа стоял Пармен, не шелохнувшись, пока мужики укрепляли конструкцию. Пот струился по его лицу, жилы на руках вздулись, но он не издал ни звука. Лишь когда последняя доска была прибита, осторожно опустил крышу и отступил в сторону, утирая рукавом лоб.

А на свадьбе у двоюродного брата случилась другая история. Молодые гости, захмелев, как водится на селе, затеяли драку. Гости замерли в тревожном ожидании. Пармен, который до этого спокойно сидел в углу, медленно поднялся. Его фигура в простой льняной рубахе вдруг показалась огромной в тесной землянке.

Он не стал никого уговаривать или угрожать. Просто подошёл к двум самым рьяным зачинщикам, взял каждого одной рукой за шиворот — будто двух озорных щенков — и легко, без усилий, приподнял над полом. Затем несильно стукнул их лбами — чтобы отрезвить.

— Ну что, остыли? — спокойно спросил он.

Драка тут же прекратилась. Парни покраснели, забормотали извинения, а остальные гости выдохнули с облегчением.

\*\*\*\*\*

Чтобы не канула летопись нашей семьи в безмолвие прошлого, берусь я изложить биографическую историю нашего рода.

История моя началась с моих отца и матери — Лукьяна Парменовича и Александры Макаровны. Они были одними из первых жителей родного села моего — Хорёвки. Пережили они тяжкие времена после отмены крепостного права и тягости переселения, когда каждый клочок пашни приходилось отвоёвывать у степи и у судьбы.

Разбросало тогдашние землянки наших предков вдоль извилистой реки Моховой — кто повыше, на бугре, кто пониже, у самой воды. Ставили их наскоро, из самана да жердей, крыли чаканом — лишь бы укрыться от ветра да дождя. Наша землянка была на самом склоне к речке.

В те скудные годы в нашем селе среди привычных землянок стоял один единственный деревянный дом. Принадлежал он моему дяде, Фёдору Макаровичу — человеку, слывшему

среди односельчан заступником и советчиком. В тридцатые годы дом этот переоборудовали под начальную школу: одну комнату отвели под класс, другую — под жильё учительницы.

А неподалёку, на пригорке, стояла старая церковь — белая, с потемневшим куполом. Мы ходили туда по воскресеньям, держась за руки, в лаптях и холщовых рубахах. С колокольни, что стояла рядом с церковью, открывался весь мир — просторный, живой, наполненный звуками и запахами деревенской жизни. Мы, мальчишки, в дни Пасхи карабкались сюда, чтобы учиться звонить: сперва робко дёргали за верёвки, потом смелели — трезвонили во все колокола, выбивали простые мелодии, вызванивали их с детской непосредственностью.

Среди звона рождались и наши озорные присказки. Кто-нибудь выкрикнет: «Блинцы-яйца, ко-ко-ко, да и кисло молоко!» — и все хохотали, подхватывали, перекрикивали друг друга. Взрослые же звонари подбирали наиболее выразительные двух- и трёхстишия, правда, не выдерживающие цензуры. Люди, стоя внизу, улыбались, порой подбадривали: «Звони звончей! Пусть вся округа слышит!»

Ребята постарше знали настоящие звоны — торжественные, скорбные, праздничные — и учили нас, малышню, подбирать наиболее выразительные сочетания. Правда, порой и сами не сдерживали задорных шуток, вплетая в перезвон озорные ритмы, да такие, что батюшка, услышь он, только головой бы покачал:

— Ох, молодёжь!

С высоты колокольни всё виделось особенно отчётливо. Вот по дороге, пыля колёсами, медленно ползёт воз с сеном — его тянут лошади, пофыркивая на ходу. Рядом — крестьянин в холщовой рубахе рассеивает зерно по пашне, мерно шагая и взмахивая рукой. Бабы несут на плечах плетёные корзины из тальника, что густо растёт по берегам реки Моховой, шелестя узкими листьями на ветру.

Внизу, у подножия холма и реки Моховой, была видна и наша землянка — старая, но крепкая, крытая чаканом, с двумя ставнями и маленькими глазами-окнами, будто подмигивающими солнцу. Она смотрела прямо на церковный двор, где кипела своя жизнь: женщины несли кувшины к колодцу, ребятишки гоняли кур, а старик дьячок, опершись на клюку, что-то внушал мальчикам-певчим. Надворные постройки — низкие хлевы с дымящимися навозными кучами, тёмные сараи, приземистый амбар — теснились вокруг, образуя задний двор, который плавно переходил в пологий бугор, поросший полынью.

Землянка наша, как и большинство в Хорёвке, была не просто скромна — она была бедна и убога до отчаяния. Крохотная, всего в тридцать квадратных метров, в ней ютилось шестнадцать человек: наши родители и мы, четырнадцать детей, — и казалось, что она вот-вот распылится от тяжести нашей жизни.

Жилая площадь делилась на две тесные комнаты, словно сдавливающие нас со всех сторон. В передней, едва ли больше десяти шагов в длину, хватало места только для деревянных лавок вдоль стен и единственного стола, что остался ещё от деда. Поверхность его, иссечённая ножами, покрытая царапинами и пятнами, хранила следы многих поколений. Здесь, при тусклом свете лучины или коптилки, мы с семьёй проводили вечера: сидели на лавках или прямо на земляном полу, подстелив ветхую тряпку или охапку соломы. Дети играли, отец с братьями постарше чинили упряжь, склонившись над столом, мать с сёстрами перебирали крупу — единственную нашу пищу, которую нужно было беречь до последней крупинки.

Задняя комната была чуть просторнее, но «простор» этот был лишь сравнительным: всё те же голые стены, те же лавки вдоль них, да печка — наша спасительница зимой. Едой нам служила однообразная трапеза. На нашем столе лишь миски с кашей да краюха чёрствого хлеба — если повезёт. О мясе не шло и речи, овощи были редкостью, фрукты — несбыточной мечтой, а сладкого мы не знали вообще. В праздники — если удавалось раздобыть — разве что яйца и картошка могли разнообразить нашу пищу. Но праздники случались так редко, и их ожидание порой превращалось в муку.

По углам землянки, сваленное на полу, хранилось всё наше небогатое имущество: изношенное тряпье, лоскуты, старые инструменты. В одном углу, под низким потолком, висели иконы в медных окладах — тусклые, потемневшие от времени и копоти. На вбитых в стену гвоздях висела одежда — латанная-перелатанная, передаваемая от старших к младшим.

Спали мы как придётся. Младшие — на полу, на подстилках из соломы, которые редко менялись и добавляли затхлость в нашем жилище. Старшие — на лавках, а зимой, когда мороз пробирал до костей, забирались на печку, где тесно прижимались друг к другу, чтобы согреться.

Воздух в землянке всегда был тяжёлым: летом — невыносимая степная духота, осенью и весной — запах сырости, дыма, невымытых тел, кислой каши и старого дерева смешивался в одно удушливое облако. Зимой окна затягивали бычьим пузырьём, летом оставляли открытыми — но и тогда прохлада не спасала: жара лишь сменялась удушьем.

За порогом нашей землянки начиналась сама выжженная солнцем и ветром Хорёвка. Как у нашего жилища, так и у всех в округе не было ни единого деревца: только строения, прилепившиеся друг к другу, словно грибы после дождя. Четыре десятка жилищ — глинобитных, крытых камышом, с маленькими окошками. Они стояли беззащитные перед суховеем, что выдувал из них тепло, перед палящим июльским солнцем, превращавшим глину в камень, перед осенними ливнями, размывавшими тропы до непролазной грязи.

\*\*\*\*\*

В нашем селе фамилии не просто давали — они сами собой нарождались и хранили в себе память о людях, их делах и даже слабостях. Ивановы-Марьевские, к примеру, когда-то перебрались к нам из соседней Марьевки, Рожковы-Савкины пошли от деда Савелия — кузнеца, чьё дело гремело на всю округу. А рядом с ними жили Рожковы-Парменовы. Это уже наш род, взявший название от деда, Пармена. У нас в роду все хлебопашцы, первыми распахавшие здешние целинные земли. Когда-то здесь была нетронутая степь, ковыль по пояс, да хорьки в норах. Но Парменовы не побоялись взяться за плуг, и вскоре за их двором потянулись первые борозды. С тех пор и повелось: если кто хотел научиться пахать по-настоящему — шёл к Рожковым-Парменовым. Ветвь Рожковых получила своё название от прозвища «Рожок», которым наградили одного из моих дедов по отцовской линии за упрямство и крепкую силу.

Николаевы-Шабольдиновы слыли в селе мастерами бить баклуши. «Опять Николаевы шаболят!» — качали головами соседи, видя, как они то сидят на завалинке, то гоняют голубей, то затевают что-нибудь бестолковое. Прозвище прилипло намертво, да так и вошло в фамилию — Шабольдиновы.

Гундаревы-Митрофановы славились гончарным делом. Их горшки с затейными узорами — завитушками да петушками — стояли почти в каждом доме. Дед Митрофан знал какой-то секрет: глина у него получалась звонкой, не трескалась от жара, а вода в кувшинах оставалась холодной даже в самый зной.

Душкины-Шаговы получили свою фамилию за особую походку. Старик Душка, основатель рода, был хромым, но шёл так легко и пружинисто, будто не ковылял, а шагал в каком-то своём, особенном ритме. Внуки его переняли эту манеру — и вот уже все Душкины ходили так, что издали можно было узнать: Шаговы идут.

Краснощёковы — тут и объяснять не надо: у всех мужчин в роду щёки были румяные, будто их кто кистью подкрасил. Зимой, после мороза, так и вовсе горели, как маков цвет. А Безбородовы — род удивительный: у них ни у кого бороды не росли, хоть ты тресни.

Березуцкие-Кукушкины — те вообще загадка. Одни говорили, будто прабабка их была приметлива: услышит кукушку — и сразу скажет, сколько лет жить осталось. Другие уверяли, что дед их в молодости подражал кукушке так искусно, что птицы ему отвечали. Как бы там ни было, прозвище прижилось, да так крепко, что даже в церковных книгах их так записали.

Так и жили. Фамилии наши — как летопись: про труд, про слабости, про удаль и мастерство. Каждое имя — история, каждая семья — часть общей памяти села Хорёвка. И пока помнят эти истории, жив и сам край наш. Каждый знал своё место, помнил предков, чтит обычаи. И пусть не было в Хорёвке ни деревьев, ни каменных домов — была земля, была община, скреплённая трудом, нуждой и верой.

\*\*\*\*\*

Темнота и невежество царили в нашем селе, словно густой туман, окутавший каждый дом. В избах не знали грамоты, в сердцах жили суеверия, а за окраину села выходили с опаской — будто мир за околицей таил неведомые опасности.

И среди этой мглы был один свет — мой отец, Лукьян Парменович. Односельчане почитали его грамотеем и даже провидцем, способным прочесть судьбу по звёздам или по линии ладони. Почему? Да потому, что он единственный в селе умел читать — и не просто по-русски, а ещё и по-славянски, на языке древних книг. Знал он наизусть библейские предания, помнил пророчества, толковал евангельские строки о жизни праведников и грешников так, что слушатели замирали, боясь пропустить слово.

Летом, в часы полуденного отдыха, когда солнце стояло в зените и работа в поле замирала, отец выходил на край пашни. Соберётся вокруг него десяток мужиков, бабы с ребятишками — все слушают, раскрыв рты. Он доставал из холщовой сумки потрёпанную книгу, раскрывал её и начинал читать — медленно, внятно, с расстановкой. Слова лились, как вода из родника: о райских птицах, о свете, побеждающем тьму, о пути души от греха к спасению. Слушатели кивали, крестились, некоторые вытирали слезу — так сильно действовал на них голос отца, его вера, его знание. Книга та была единственная в нашем селе — «Евангелие».

А рядом, в тени стога, сидела моя мать, Александра Макаровна. Бог отмерил ей большой век: прожила она более девяноста лет — возраст, который другим и не снился. Безграмотная, она никогда не держала в руках книги, но была воспитана в духе строгого религиозного благочестия и даже фанатизма: каждое воскресенье — в церковь, каждый пост — с молитвой, каждый труд — с благословением.

Природа не обделила матушку мою ни красотой, ни умом, а замуж за отца её отдала в семнадцатилетнем возрасте. С юных лет отдала её в работу — сначала к бабке-соседке на огород, потом в поле, затем в услужение к зажиточным соседям. Трудилась она не покладая рук: гнула спину в поле и на огороде, прядла, стирала, стряпала, нянчила своих и чужих детей. Природа не наделила её книжной мудростью, но одарила другим — душевной добротой, терпением, житейской смекалкой.

Так и жили мои родители: отец с его книжным знанием — наш добытчик и кормилец, рядом — мать с её народной мудростью, наша заступница. Один освещал путь словом и делом, другая — сердцем. И в этой гармонии, в этом единстве разума и души заключалась тайна семейного счастья нашего, которое, увы, было столь недолгим.

Глава 2

## Рождение Кобелёвки

Восточной границей нашего села и служила река Моховая — широкая, с илистым дном и заросшими осокой берегами. Мы, деревенские мальчишки, любили в ней купаться, порой так заигрывались, что барахтались в грязи, поднимая тучи мути. Здесь же бабы полоскали бельё, а мужики купали лошадей — те фыркали, били копытами по воде, разбрызгивая капли на солнце.

Однажды два друга, соседские парни: степенный Заречный Роман, да бойкий Качан Алексей, задумали перебраться на новое место. Надоело тесниться у старых изб, хотелось своего угла. Земля за оврагом и за речкой манила плодородием да простором. Решили построить жильё поодаль, на том берегу, на возвышенности, где ветер чище, а вид — на всю округу.

По примеру других селений взялись за дело дружно. Лепили на новом месте саманные мазанки из глины, крыли камышом и чаканом, ставили низкие двери да маленькие окошки. Развели первый костёр — дым пошёл столбом, стали готовить еду в своих котлах. Вскоре к ним потянулись и другие. Одни захотели попробовать себя на новом месте, другим стало тесно в привычных жилищах. И вот, когда новые дома постепенно уже встали в ряд, а между ними протоптали первую тропинку, встал вопрос: как назвать новое поселение?

Солнце клонилось к закату, окрашивая степь в рыжие тона. На завалинке у околицы собрались мужики — решать, как назвать новую слободку, что разрасталась за рекой, да за оврагом.

— Да чего тут думать? — пробасил Заречный, вытирая пот со лба рукавом рубахи. — «Заречное» и всё тут. Мы ж за рекой селиться будем, вон она, блестит, как зеркало.

Старший Кукушкин из вредности покачал головой:

— Э-э, братец, — протянул он. — «Заречное» — не пойдёт. Издревле места за оврагами звали «заовражными». Предлагаю — «Заовражье». Благозвучно, солидно, по традициям!

— Традиции, традиции... — буркнул Заречный, хмуря брови. — Какое ещё «Заовражье»? Мы это место открыли, значит быть по-моему!

Понятное дело, он хотел в названии увековечить свою фамилию и упёрся, как баран. Это не всем понравилось.

— Ишь чего! — вскинулся Кукушкин. — Твоё «Заречное» звучит — как утка крякнула!

— Что ты сказал?! — Заречный встал, нависая над оппонентом. — Ты на кого голос повышаешь, грамотей?

— А на тебя! — Кукушкин тоже поднялся, сжав кулаки.

— Я сказал - Заречье!

— Заовражье!

— Заречье!

— Нет, Заовражье!

И тут как начали они друг друга матом обкладывать, аж за грудки схватились. Мужики вокруг зашумели, загомонили:

— Тише, братцы, тише!

— Да не драку же затевать...

— Подумайте, что творите!

Тут в перепалку встрял пастух Васька-Китай — долговязый мужичок, с вечной ухмылкой на лице, состоявший в родстве с Кукушкиным. Он стоял в сторонке, ковырял палкой землю, а теперь вдруг выпрямился и гаркнул во всё горло:

— Что вы лаетесь, как два кобеля перед костью, матерщинники? Пусть тогда ни вашим, ни нашим — назовём «Кобелёвка»!

На мгновение повисла тишина. Потом кто-то хихикнул. Другой прыснул в кулак. А потом грянул дружный хохот — мужики покатывались со смеху, хлопали себя по коленям, утирали слёзы:

— Кобелёвка! Ха-ха!

— Ну, Васька, ну шутник!

— А что, звучит!

— И запомнить легко!

Заречный, ещё минуту назад красный от гнева, вдруг ухмыльнулся:

— Умно, Васька. Просто, да метко!

Кукушкин тоже улыбнулся:

— Пусть будет «Кобелёвка».

— Быть по сему! — громко объявил старейшина села. — Так и назовём и запишем: слободка Кобелёвка, что за оврагом, близ села Мохового.

Мужики одобрительно загудели. Кто-то хлопнул Ваську по плечу:

— Ну, Китай, удружил! Теперь внуки будут помнить, как Кобелёвка родилась.

Васька покраснел, замялся, не доводилось ему ещё названия селам давать. А солнце тем временем опустилось за горизонт, и первые звёзды зажглись над новой слободкой — Кобелёвкой.

Нет в живых с военных лет ни Ромки Заречного, ни Алексея Качана. Их дети и внуки разлетелись по большой стране: кто в город, кто на стройку, кто в армию — но в сердце каждого осталась малая родина, с её речкой, ветлами да скрипучими воротами.

Прошло тридцать лет — и как изменилось село! Теперь родная моя «Хорёвка-Кобелёвка», стала колхозом имени Калинина. Но люди по-прежнему зовут её по-старому, по-своему. Сейчас тут иные дома — под шифером, с аккуратными ставнями, палисадниками, где цветут мальвы и ноготки. В центре — средняя школа, где учатся внучата прежних жителей, Дом культуры, откуда по вечерам льётся музыка. В каждом доме — проигрыватель, холодильник, радио, а то и телевизор; у многих — личные автомобили: «Жигули», «Москвичи», «Уралы».

Руководят хозяйством теперь специалисты — с высшим образованием, с новыми идеями, но с уважением к старине. И пусть село уже не то, что прежде, — дух его, память, связь поколений остались нетронутыми. И когда на праздник собираются старики да малые, когда поют песни, рассказывают были, кажется: вот она, сила земли, сила рода, что сквозь годы пробила, чтобы жить и цвести.

## Глава 3

### Короткие дни детства

— Макаровна опять в подоле принесла! — судачили кумушки, сидя на завалинке, лузгая семечки и качая головой, глядя, как мать наша, Александра Макаровна, выводит детишек во двор.

— Да куда ей столько — четырнадцать детей! Бедный Лукашка из сил выбивается, чтобы всю эту ораву оборванцев прокормить, а она знай подсыпает!

Бедный Лукашка — это они про моего отца, Лукьяна — он действительно выбивался из сил, чтобы прокормить нас. Вставал до зари, уходил в поле, возвращался затемно, а мать всё рожала да рожала, прибавляла оборванцев в избу.

— А что же ей делать? Не спать с Лукашкой, аль чаво? Макарьевна молода — семячек в ней много. Так вот пусть и родит! Бог даст — прокормим. У меня-то самой двенадцать, целая вереница голодранцев тянется за мной, как утята за уткой, — вступалась за соседку тётка Иванова, из Соломиных.

Авдотья Евдокимова, проходя мимо с ведром воды, услышала беседу, остановилась, вздохнула:

— Этот у Макаровны будет последний, я так думаю. Родился с зубами, в рубашке. Горластый, беспокойный. Он так орёт, что мать его то полночи в люльке убаюкивает, то по задачам носит, чтобы всё село не перебудить. А жрать-то у них нечего, видать всё подскребли, вот и кричит малой, а она только и может, что выносить его наружу. Я так думаю — или будет большим человеком, или помрёт. Вот увидите, бабы, послушайте мой сказ!

Это она про меня. Это я родился последним, четырнадцатым, и самым горластым в семье. Так или иначе, но права оказалась Авдотья. После меня уже прибавления в семье нашей не было. А я и правда, с малых лет не сидел на месте, бедовый был: то в реку прыгну, то на крышу залезу, то с мальчишками в драку ввяжусь. Мать только руками всплеснёт:

— И в кого ты такой? Весь в деда, что ли? Тот тоже без покоя жил.

Так и росли мы — в тесноте да не в обиде. Четырнадцать ртов в семье — это не шутка, но и не беда, когда рядом соседи, земля кормит, а вера в лучшее не иссякает. И пусть не было у нас ни ковров персидских, ни серебра на столе, зато было главное — семья.

Старшие братья и сёстры мои стали мне и няньками, и кормилицами, пока мать с отцом добывали пропитание. Особенно много со мной хлопот было сестрёнкам — Анне и Катюше. Они кормили, меня, пеленали, поили раствором мака, как снотворным, чтобы меньше орал, часами укачивали в люльке, напевая колыбельные, что знали ещё от своих бабушек. Потом, когда я подрос, кормили с ложки кашей и поили тёплым травяным отваром, когда я хворал.

Зимы тогда стояли суровые — морозы трещали, снег заметал избы по самые окна. На втором году жизни я часто болел: кашлял, метался в жару, а сёстры сидели у постели, смачивали лоб холодной водой, шептали молитвы. Но выжил — видно, и правда родился в рубашке, как говорила соседка Авдотья. И хотя детство моё выпало на тяжёлые годы, в памяти остались не только беды, но и тепло рук сестёр, и их тихие песни в морозную ночь.

Так и рос я — между заботой родных и суровостью времени, между деревенскими шутками и горькими утратами. Детский мир — особый, полный тайн и правил, — сквозь призму игр он был ярким отражением социальных отношений, уровня развития и нравственных ценностей взрослых. В забавах деревенской ребятни всегда угадываются отголоски реальной жизни: труда, риска и удачи.

Ярче всего это проявлялось в игре «Бахча». Летом, когда взрослые трудились в поле, а солнце палило нещадно, ребята собирались в переулках или на заброшенных пустырях. Здесь начиналось волшебство: из пыли, золы и комьев земли возводились бугорки — каждый изоб-

ражал спелый арбуз или душистую дыню. Мальчишки споро лепили их, похлопывали ладонями, украшали травинками — будто настоящие бахчеводы.

Среди игроков непременно выделялся «караульщик» — самый серьёзный или ловкий. Он получал почётную роль сторожа: ходил вокруг «полянки», грозно размахивал прутиком, грозно покрикивал:

— Эй, вы там! Не подходите близко! Моё это, моё!

Остальные же, словно воровская шайка, прятались за заборами, перебежали от куста к кусту, выжидая удобного момента. Кто-то подавал знак — и вот уже ватага с гиканьем бросалась на «бахчу», расталкивая бугорки ногами, хватая «плоды». Разрушение означало удачу набега, а самый проворный, успевший утащить побольше «арбузов», становился героем дня.

Игра эта учила смекалке, ловкости, умению действовать сообща — и в то же время уважать правила. Ведь даже «воры» знали: если «караульщик» поймает — придётся отвечать, если честно выиграешь — сам станешь главным и будешь сторожить в следующий раз.

\*\*\*\*\*

С приходом зимы всё менялось. Старшие ребята, уже подросшие парни, брались за дело всерьёз: таскали снег, утрамбовывали его, поливали водой, чтобы застыл. Так вырастали снежные горы — высокие, с крутыми склонами и виражами. Мы, малыши, ждём не дождёмся: готовим ледянки — старые тазы, доски, обледенелые корзины — и с визгом скатываемся вниз. Кто дальше проедет, не упадёт и рискнёт съехать головой вперёд — тот станет героем.

Так, из лета в зиму, из игры в игру, мы познавали мир: учились быть сторожами и хитрецами, победителями и проигравшими, товарищами и соперниками. И каждый бугорок из пыли, каждая ледяная горка становились ступеньками во взрослую жизнь, где тоже есть и бахчи, и горы, и свои правила, которые надо знать, уважать — и иногда нарушать, чтобы стать по-настоящему взрослым.

Ледянка — простое, но хитроумное изобретение деревенских ребят, проверенное веками. Делали её так: находили старый таз, широкую доску или даже корзину, оббивали края грубой холстиной, чтобы не пораниться о занозы. Потом несли к хлеву, погружали в свежий навоз и оставляли на морозе. Когда масса схватывалась, её поливали водой — раз, другой, третий. Мороз делал своё дело: слой за слоем нарастала ледяная корка, поверхность становилась гладкой и скользкой. Вот и готова ледянка — хоть сейчас на гору!

Старшие парни, уже поднаторевшие в этом деле, устраивали целые соревнования. Один садился в таз, крепко хватался за края, отталкивался ногой — и стремглав летел вниз по склону, визжа от восторга и размахивая руками. Другие, стоя наверху, хлопали в ладоши и кричали:

— Эй, Васька, держись! Не перевернись!

— Да куда ему, он уже в сугробе! — хохотали в ответ.

Понятия о лыжах или санках тогда почти не существовало — разве что у самых зажиточных. Коньки были редкостью, но самые изобретательные мастерили их сами: выстругивали деревянные колодки, прикручивали к ним куски металла — вот и скользкая поверхность. Иногда к таким конькам привязывали верёвки или ремешки, чтобы крепче держались на валенках. Правда, скользили они плохо, зато сам процесс создания уже был игрой.

Мы, малыши, смотрели на старших, затаив дыхание, и ждали своей очереди. Нам доверяли только самые пологие склоны, да и то под присмотром. Зато как радостно было мчаться вниз, чувствуя, как ветер свистит в ушах, а снег брызжет в лицо! Играли до усталости: кувыркались и выезжали в сугробы «с победным криком» пока хватало сил. Перекусить бежали домой: мать подавала с печи горячую картошку, кружку кипятка. А потом — кто куда: на кошму у порога, на лавку или прямо на пол, поближе к тёплой русской печи. Там, в её ласковом тепле, нас охватывал прекрасный, глубокий, непробудный сон — такой, какой бывает только в детстве.

И пусть не было ни ярких игрушек, ни электрических гирлянд, ни магазинных сладостей — мы были счастливы. Счастливы просто оттого, что есть гора, ледянка, друзья рядом и впереди ещё целая зима, полная новых забав. Таким беспечным и по-своему волшебным было моё детство до четырёх лет, пока мир казался огромным, а каждый день приносил что-то новое. Но беда не дремала. Она караулила, выжидала момента, чтобы ударить побольнее...

## Глава 4

### Смерть отца и бегство из села

Июль 1918 года. Страда — время, когда село живёт от зари до зари, когда каждый час на счету, а хлеб на полях наливается силой.

Мой отец, Лукьян Парменович, встал в тот день раньше обычного. Вместе со старшими сыновьями — крепкими Иваном и Алексеем (Фёдора-то уже забрали на войну) — он отправился в поле, где золотистые колосья ждали серпа.

Они свозили снопы к гумну: отец вязал их крепкими руками, сыновья грузили на воз. Солнце палило нещадно, воздух дрожал над полем, а в ушах стоял монотонный гул цикад. И вдруг отец остановился, вытер пот со лба и покачнулся.

Братья заметили неладное уже на дороге, когда везли последний воз с поля. Отец вдруг начал метаться, бормотать что-то невнятное. Его ломало, руки и ноги сводило судорогами, лицо покрылось испариной, а глаза горели лихорадочным огнём.

— Батя, что с тобой? — встревоженно спросил Иван, хватая вожжи.

— Держись, отец! — крикнул Алексей.

От реки Моховой до села было рукой подать. Алексей соскочил с воза, бросил снопы и побежал по пыльной дороге, спотыкаясь и падая, но не останавливаясь. За ним уже бежали соседи, услышавшие крик.

Отца принесли в землянку — положили на деревянный пол, укрыли старым зипуном. Женщины суетились вокруг: прикладывали бутылки с холодной водой, чтобы сбить жар, делали компрессы, поили настоями ромашки и тысячелистника. Никаких других лекарств и лечения в то время не было... Мама шептала молитвы, гладила его по голове, уговаривала:

— Потерпи, Лукьян, потерпи, миленький...

Но болезнь оказалась сильнее. К вечеру жар достиг предела, дыхание стало прерывистым, а потом и вовсе замерло. Лукьян Парменович ушёл тихо, сжимая в руке край холстины, словно цепляясь за жизнь. В селе говорили — холера. Она пришла с юга, вместе с беженцами и солдатами, вместе с голодом и смутой тех лет. Уносила людей быстро, без разбора — и старых, и молодых.

Мы стояли у землянки, братья и сёстры, смотрели на закатное солнце, а в сердце уже зрело понимание: детство кончилось. Теперь нам предстояло учиться жить без отца — в мире, где каждый день был испытанием, где хлеб добывался потом и кровью, и только упрямство становилось опорой в самые тяжёлые минуты.

Так и осталась в памяти та июльская страда — как рубеж между беззаботным детством и взрослой жизнью, где вместо отцовской руки приходилось полагаться только на себя и на тех, кто рядом. Я хорошо помню тот тяжёлый час. Отец мой, уже отрешённый от мирской суеты, словно оплакивал горькую судьбу самого младшего в семье — мою судьбу. Будучи ещё совсем ребёнком, я стоял у изголовья его постели и видел всё — от первых предсмертных хрипов до последнего, едва уловимого вдоха.

Портрет родителя моего, Лукьяна Парменовича, не сохранился до наших дней. Говорят, после его смерти мой брат Алексей так глубоко переживал утрату, что слёзы его не иссыкали днями. Именно он, как две капли воды, был похож на моего отца, но и его фото не сохранилось — их образ навсегда поглотило время...

Мы оказались на попечении матери, Александры Макаровны, — всего к тому времени осталось нас десять человек. Старший из нас, мой брат Фёдор, вернулся с войны инвалидом после тяжёлого отравления немецкими газами: последствия той болезни преследовали его всю жизнь. Иван, следующий по возрасту после Фёдора, в пятнадцать лет неожиданно оказался

старшим мужчиной в семье. Бремя ответственности легло на его юные плечи — слишком рано для мальчишки, которому ещё бы играть и мечтать.

Затянувшаяся на долгие годы имперская, а потом гражданская войны разорили Россию. Наступили голодные годы, особенно тяжкие для Поволжья в начале 1920-х. Поля стояли голые, сёла пустели, а люди теряли последнюю надежду. Чтобы спасти измождённых, истощённых детей от верной голодной смерти, мать наша, Александра Макаровна, приняла непростое решение: вывезти нас в более благополучную губернию — Пензенскую «на прокормление». Путь предстоял нелёгкий, но выбора не оставалось: только так можно было дать нам шанс на жизнь.

1920 год. Засуха. Голод. В тот год эмиграция из Поволжья от голодной смерти была массовой. Из Поволжья люди уходили целыми семьями — кто пешком, кто на телегах, превращённых в подобие кибиток. Грузили на них нехитрый скарб: холщовые мешки с остатками муки, старые зипуны, чугунки, иконы в медных окладах — всё, что могло пригодиться в дороге. Таборами саратовцы направлялись в Тамбов, Пензу и дальше — в места, которых не коснулась засуха 1920-го года. Туда, где, по слухам, ещё можно было найти хлеб, работу, спасение. В селе оставались лишь те, у кого не было сил подняться, да те, кто до последнего надеялся на чудо. Выбора не было, надо было уезжать... Начало собираться в путь и наше село. Мужчины, потерявшие семьи, одинокие бродяги, неохотно брали в свою компанию, в свои спутники, многодетных матерей. К кому не обращалась моя мать, везде получала отказ. Выслушали её только трое - Герасим Загулин, Константин Евдокимов, а с ними Максим Емельянов.

Герасим, усталый мужчина, с глубокими морщинами на лице, потерявший жену и детей, умерших от голода и оспы, посмотрел на измождённые лица товарищей, на нас с матерью, и произнёс с горечью, но с твёрдостью в голосе:

— Там и быть, Макаровна. Поедем вместе горе горевать.

Эти слова повисли в воздухе, как пелена тумана. В них была вся суть их пути — не радость открытия нового, а совместное перенесение боли, сплочённость перед лицом испытаний. Но в этой горечи была и сила, и мужество, и готовность бороться до конца.

\*\*\*\*\*

Перед самым отъездом случилось горе. От голода и истощения умерла моя сестрёнка Катюша. Ей было всего двенадцать лет — ещё совсем ребёнок, с косичками и веснушками. Она утасла за несколько дней: сначала перестала есть, потом лежала, не вставая, а потом просто закрыла глаза и больше не открыла.

Мы похоронили её на околице, под старой ветлой. Мать положила на могилу букетик полыни, никто не плакал — слёз уже не было.

На следующий день мы с односельчанами тронулись в путь. Мы попрощались с родными местами, с отчим домом, с могилой Катюши — и, не оглядываясь, двинулись дальше, на чужбину, в неизвестность, надеясь, что где-то там, за горизонтом, нас ждёт хоть немного тепла и хлеба. Так началась наша дорога — долгая, трудная, полная лишений. Но в сердце каждого горела упрямая надежда: выжить, выстоять, сохранить семью — и когда-нибудь вернуться домой.

## Глава 5

### Долгая дорога

Четыре кибитки, скрипя разохшимися колёсами, отправились в неизвестность. В каждой — по несколько семей: дети, старики, узлы с пожитками, кое-какая утварь. Мы с матерью и братьями сидели в одной из них, прижавшись друг к другу, и смотрели, как отдаляется родное село. Крыши землянок, покосившийся забор у околицы, плакучая ива у реки — всё уменьшалось, таяло в дымке, пока не скрылось за поворотом.

Лошадёнка наша, тощая и заморенная, еле тащилась. Мать гладила меня по голове и шептала:

— Ничего, сынок, доберёмся. Главное — вместе.

По дороге было нелегко. В сёлах и деревнях просили милостыню, побирались. Кто подавал краюху хлеба, а кто и прогонял с крыльца:

— Самим есть нечего!

Но мы не отчаивались. Шли от деревни к деревне, благодарили за каждую крошку, за глоток воды. Братья, помладше, порой плакали от голода, но мать утирала им слёзы и говорила:

— Терпите, родные. Скоро будет лучше.

Так, с трудом, добрались до Волги, до местечка Рыбинское. Перед нами раскинулась могучая река — широкая, тёмная, с бурными водоворотами. На том берегу, говорили, жизнь полегче: есть работа, можно наняться в батраки, а то и землю распахать. Предстояла тяжелейшая переправа на правый берег — на вёсельных лодках в дождь и грозу. Владельцами лодок были поволжские немцы, состоятельные хозяева. Перевозили нас их работники — местные батраки, угрюмые, обветренные, с мозолистыми руками. В силу возраста я не могу знать на каких условиях и за какую оплату они транспортировали нас в эту смертельно опасную, ненастную дождливую погоду.

День выдался хуже некуда. Небо затянуло тучами, налетел резкий ветер, полил дождь — холодный, колючий. Лодки качало на волнах, вода плескала через борта. Дети плакали, старики крестились, женщины прижимали к себе малышей. Один из батраков, коренастый мужик с седыми усами, покрикивал:

— Держитесь крепче! Не раскачивайте лодку! Весла в руки, кто может — помогайте!

Мы с братьями, хоть и малые, взялись за вёсла. Гребли изо всех сил, помогая взрослым. Мать сидела на носу, крепко держа узел с нашими скудными пожитками.

— Господи, спаси и сохрани, — шептала она, глядя на бурлящую воду.

Переправа длилась долго. Дождь не унимался, ветер рвал одежду, но мы упорно двигались вперёд. Одна лодка чуть не опрокинулась, когда волна ударила в борт, но мужики вовремя выровняли её. Наконец, после долгих часов борьбы со стихией, мы увидели берег. Батрак с седыми усами перекрестился:

— Слава богу, добрались. Живы, целы.

И правда: мы смогли переправиться без потерь и жертв, сохранив повозки и лошадей. Выбрались на берег, огляделись. Впереди расстилалась незнакомая земля, но в груди теплилась надежда: может здесь начнётся новая жизнь? Мать обняла нас и улыбнулась — впервые за долгое время:

— Видите? Всё получилось. Дальше будет легче.

Мы кивнули, прижались к ней. Дождь всё ещё шёл, но нам уже было не так холодно.

Переплыв могучую и великую русскую реку Волгу, столь изменчивую и непостоянную, то тихую, то непредсказуемую и опасную, семьи из нашего «табора» разместились у добрых людей в окрестных сёлах. С наступлением погожих дней мы снова двинулись в путь. Солнце пригревало, ветер утих, и дорога уже не казалась такой невыносимой. Но через несколько суток

наш большой обоз начал распадаться. Одни сворачивали влево — туда, где слухи обещали плодородные земли и работу. Другие выбирали дорогу вправо: там, по рассказам, принимали переселенцев в новые артели. Третьи шли прямо — в глубь края, надеясь найти своё счастье вдали от людных мест.

Мужики, сопровождавшие нас до этого, теперь покидали обоз. Большой ватагой выжить труднее, так решили наши односельчане. Мы для них стали бременем, обузой. Большая часть отправлялась устраиваться на новые места — пробовали наниматься в работники, искать участок под пашню или пробовать силы в ремесле. Мы же, оставшиеся, собирали последние силы и шли дальше — туда, куда вела нас судьба.

Каждый мужчина из нашего обоза обладал каким-то ремеслом и мог в любой момент остановиться, стать временно оседлым. Мужик решал свою судьбу сам. Некоторые, добравшись до Волчихи, решили остановиться здесь хотя бы на время — найти ремесло, переждать до более благоприятных времён. Так поступил, нарушив своё обещание, и Герасим Загулин. Он владел сапожным делом — был кустарем с многолетним опытом — вот и решил наладить своё ремесло в первом же подходящем селе или деревне. Вскоре к Герасиму потянулись и другие наши попутчики: просились подмастерьем, надеясь обучиться новому делу. Постепенно обоз редел.

Путь становился всё тяжелее. Наши единичные односельчане, которые ещё ехали вместе с нами и у которых ещё оставались лошади, начали отставать: животные, измученные долгой дорогой, едва тащились. И вот мы остались совсем одни — всего одна кибитка, одиноко плетущаяся по разбитым дорогам в неизвестном направлении. Наша измождённая лошадка еле переставляла ноги. Она уже не могла вытянуть телегу даже на небольшие пригорки — приходилось вылезать, толкать повозку, помогать животному изо всех сил.

День за днём силы, словно песок сквозь пальцы, покидали нас. Лошадь, итак истощённая дорогой, теперь вообще плелась еле-еле. А мы, люди, едва держались на ногах — будто тени самих себя, измождённые и опустошённые.

Старшая сестра, Поля, окончательно выбилась из сил. Она больше не могла идти рядом с повозкой, спотыкаясь на каждом шагу, — и теперь неподвижно лежала в кибитке, бледная и тихая, словно вырезанная из мрамора. Её дыхание стало прерывистым, неровным, будто кто-то дёргал невидимую нить жизни. Глаза, прежде живые и лучистые, теперь были пустыми — будто она уже отрешилась от всего вокруг, уплывая куда-то далеко, за грань реальности.

— Поля, держись, — тихо прошептал я, склонившись над ней. — Мы скоро найдём приют.

Она не ответила — лишь слабо сжала мою руку, и в этом жесте было больше отчаяния, чем надежды. Её дыхание стало прерывистым, а глаза — пустыми, будто душа уже покидала её.

\*\*\*\*\*

Мы остановились у деревушки под названием Алексеевка. Сил идти дальше уже не было никаких. Нужно было найти кров и пищу, чтобы продолжить путь завтра — если оно вообще наступит. Недалеко от деревни наша кибитка окончательно застряла в глубоком овраге. Выбраться не получалось: колёса повозки глубоко увязли в размокшей глине, словно в цепких объятиях земли, не желавшей нас отпускать. Сверху нещадно хлестал обильный дождь, холодные струи стекали по лицам, пробирали до костей. Ветер выл, будто оплакивал нашу участь, а тьма вокруг стучалась, поглощая последние отблески дня. Казалось, что ситуация грозит обернуться настоящей бедой — силы были на исходе.

— Надо найти кров, — голос матери дрожал, но она старалась держаться. — И еду. Иначе завтра мы не сможем двинуться дальше.

— Что теперь? — дети обхватили себя руками, пытаясь согреться. — Мы не можем тут оставаться. Поля слабеет с каждой минутой.

— Я пойду в деревню. Вместе с Иваном. Если там есть люди — приведу помощь. Оставайтесь с Полей и поддерживайте её, если получится.

— Но мы боимся, это опасно! — воскликнул Андрей. — Дождь, темнота...

— Опаснее оставить её без помощи, — перебила матушка. — Ждите здесь. Я вернусь.

Мама и Иван оставили нас, дрожащих от холода и страха, в этом промозглом овраге, а сами отправились в ближайшее село — просить помощи у местных жителей, умолять спасти гибнущих бедняг. Тем временем вечер неумолимо приближался. Небо, ещё недавно серое, теперь наливалось густой синевой, почти чёрной, а дождь всё не утихал — его монотонный стук по земле сливался с треском веток и тяжёлым дыханием измученной лошади. Мы уже почти потеряли надежду, когда вдруг...

— Смотрите! — хрипло выдохнул Андрей, указывая дрожащей рукой вверх.

Мы подняли головы. Над краем оврага, чётко вырисовываясь на фоне хмурого неба, появилась фигура верхового. Всадник сидел на вороном коне — крупный, крепкий, в добротной одежде, не по-деревенски опрятной. Конь был ему под стать: мощный, сытый, с блестящей от дождя шерстью. Казалось, сама судьба послала нам этого человека в час крайней нужды.

— Эй, внизу! — раздался низкий, уверенный голос. — Что стряслось?

— Мы застряли, — крикнул старший брат, поднимаясь на ноги. — Колёса в глине по ступицы, сил нет вытащить... Да и сестра наша плоха, — он кивнул в сторону кибитки. — Нужна помощь.

Незнакомец молча спешил, ловко спустился по скользкому склону и подошёл ближе. Его взгляд, внимательный и спокойный, скользнул по нашей измученной группе, задержался на бледном лице Поли в кибитке.

— Ясно, — коротко бросил он. — Давайте-ка так: я выпрягу вашу лошадку — она и так на последнем издыхании. Запрягу своего вороного — он потянет. А вы помогайте чем можете.

Он действовал быстро и уверенно. Выпряг нашу уставшую, бессильную лошадку, запряг своего вороного жеребца. Движения его были точными, выверенными — видно было, что он не раз имел дело с повозками в трудной дороге.

— Ну, дружок, пора показать, на что ты способен, — тихо сказал он коню, похлопав его по шее.

Жеребец напряг мускулы, рванул — и кибитка, сначала неохотно, а потом всё легче, начала выбираться из вязкой глины. Через несколько минут мы уже были на ровной дороге.

— Спасибо вам... — начал было Андрей, но незнакомец только махнул рукой.

— Не за что пока. До села недалеко, я вас провожу. У меня и дом просторный — устрою вас на временное проживание, отоспитесь, отогреетесь. А завтра видно будет.

Так житель села Алексеевское — мы позже узнали, что его зовут Михаил — не просто вытащил нас из оврага. Он спас нас от верной гибели, дал нам кров, тепло и надежду. Пока кибитка медленно катила к селу под неумолчный шум дождя, мы переглядывались с облегчением: кажется, самое страшное осталось позади.

## Глава 6

### Новое пристанище

Нас обогрели, высушили промокшую до нитки одежду, накормили тем, что было. Особенно щедро угощали картошкой — ароматным картофельным пюре с небольшим кусочком ржаного хлеба для каждого. Еда казалась невероятно вкусной — после долгих дней лишений даже такая простая трапеза дарила ощущение настоящего счастья.

Мы все, измученные и продрогшие, почувствовали себя по-настоящему окрылёнными. Даже я, самый маленький из всех, заулыбался и оживился. Этот момент напоминал мне того самого малютку из стихотворения «Сиротка», о котором поэт Карл Петерсон написал:

«...Вечер был; сверкали звёзды;  
На дворе мороз трещал;  
Шёл по улице малютка —  
Посинел и весь дрожал.  
— Боже! — говорил малютка, —  
Я прозяб и есть хочу;  
Кто ж согреет и накормит,  
Боже добрый, сироту?  
Шла дорогой той старушка —  
Услыхала сироту;  
Приютила и согрела  
И поесть дала ему;  
Положила спать в постельку.  
— Как тепло! — промолвил он.  
Запер глазки... улыбнулся...  
И заснул... спокойный сон!  
Бог и птичку в поле кормит,  
И кропит росой цветок,  
Бесприютного сиротку  
Также не оставит Бог!..»

То было страшное время. Голод и эпидемии косили людей без разбора — сёла и деревни вымирали целыми общинами. Вчера ещё полные жизни, сегодня они стояли одинокие, словно призраки прошлого. Поля, недавно золотившиеся колосьями, теперь чернели пустыми, заброшенными пространствами. Ветер гонял по ним сухую траву и обрывки соломы, свистел в опустевших амбарах, где когда-то хранился урожай. Кое-где ещё виднелись забытые снопы — они стояли, как скорбные памятники былому изобилию, постепенно рассыпаясь в прах.

Дороги, некогда оживлённые, заросли высоким бурьяном и колючим чертополохом. Тропы, по которым ходили люди, теперь угадывались лишь по едва заметным изгибам земли, поросшим мхом и дикими травами. Колеи, выбитые колёсами телег, заполнялись дождевой водой, превращаясь в мелкие болотца, где квакали лягушки — единственные обитатели этих мест.

В избах всё чаще слышались плачи по ушедшим. То был не громкий, отчаянный вой — нет, чаще всего это были тихие, надрывные всхлипы, перемежающиеся шёпотом молитв. Иногда из-за плотно закрытых ставен доносилось протяжное, монотонное причитание — старая знахарка или плакальщица вела свой скорбный обряд.

Это было время, когда сама земля, казалось, отвернулась от людей. Земля Поволжья, некогда щедрая и плодородная, словно иссякла, опустошённая бедствиями и лишениями. Её тёмные, жирные почвы, дававшие обильные урожаи, теперь казались сухими и безжизнен-

ными. Даже трава росла тут скудно, клочьями, будто сама природа утратила волю к жизни. Реки обмелели, их мутные воды несли запах тины и разложения. В воздухе висел тяжёлый дух запустения — смесь сырости, гнили и едва уловимого запаха дыма от давно погасших очагов.

По вечерам над равниной стелился туман — густой, молочный, он скрывал очертания домов и деревьев, делая мир призрачным и нереальным. В этом тумане то и дело мерещились тени — то ли блуждающие души, то ли просто игра воображения измученных людей. И только звёзды, холодные и далёкие, равнодушно смотрели вниз, на эту землю, забытую счастьем.

\*\*\*\*\*

Село Алексеевка Полянской волости Рамзайского уезда Пензенской губернии навсегда останется в моей памяти — с тех самых пор, как мне исполнилось шесть лет. Для нашей семьи оно стало не просто местом на карте, а настоящим районом спасения, последним оплотом перед лицом неизбежной голодной смерти в тяжёлые двадцатые годы.

Алексеевка, спрятавшаяся в глубине пензенских лесов, казалась затерянным миром. Удалённость от больших дорог и крупных городов, глухие чащи вокруг — всё это как будто оберегало деревню от самых страшных ударов судьбы. Здесь ещё теплилась жизнь: дымили трубы, слышался скрип колодезных журавлей, а на околицах паслись немногочисленные коровы — драгоценное богатство тех лет. Когда мы впервые увидели деревянные избы, утопающие в зелени вековых елей, когда вдохнули запах печного дыма и свежескошенной травы, сердце дрогнуло от облегчения. Мы понимали: здесь есть шанс выжить. В этом тихом уголке, вдали от бедствий, охвативших Поволжье, мы нашли то, чего уже не надеялись обрести, — надежду. Но радость в эти тяжёлые годы в очередной раз не могла длиться долго. Она тут же сменилась страшным горем...

На севере от села, на пригорке — словно специально возведённом самой природой постаменте, — раскинулась живописная роща. Она будто парила над округой, отделяя мир живых от чего-то более вечного и безмолвного. В ней особенно выделялись стройные белые берёзы — точно невесты в кружевных платьях, застывшие в ожидании неведомого праздника. Их стволы, испещрённые чёрными штрихами, сияли в полуденном свете, а тонкие ветви покачивались на ветру с какой-то почти человеческой грацией. Казалось, деревья перешёптываются о чём-то своём, вековом — то ли вспоминают минувшие весны, то ли шепчут слова утешения тем, кто приходит сюда с болью в сердце.

Лёгкий ветерок пробегал по кронам, и листья, отливающие серебром, звенели, словно крошечные колокольчики. В тени берёз земля была укрыта мягким ковром из опавшей листвы и первых весенних цветов — незабудок и медуницы. Где-то в вышине перекликались птицы, а воздух наполнял тонкий, едва уловимый аромат берёзовой коры и влажной земли.

Именно здесь, под сенью этих молчаливых свидетельниц времени, через несколько дней была похоронена сестра моя, Поля... Я, не ко времени повзрослевший шестилетка, стоял у свежей могилы, вместе с рыдающей матерью, моими братьями и сёстрами, которых становилось всё меньше, смотрел на берёзы и думал: может, душа её теперь стала одной из них? Может, это её голос я слышу в шелесте листьев, её дыхание — в лёгком дуновении ветра? Ветви склонялись над холмиком земли, будто хотели укрыть его от невзгод, а солнечный луч, пробившийся сквозь крону, лёг на цветы, оставленные у подножия, как благословение. Берёзы, эти вечные невесты весны, словно обещали: память останется — такая же чистая, светлая и неувядающая, как их белоснежные стволы. От навалившихся бед и страданий я уже не чувствовал себя ребёнком. Как сейчас помню свои мысли, они уже тогда были взрослыми...

В то же время пензенские кладбища принимали в свои недра всё новых и новых жертв — самарских и саратовских переселенцев, измученных голодом. Они стали жертвами последствий империалистической войны, разрухи и всеобщего обнищания, охватившего страну. Многие так и не смогли пережить эти тяжёлые годы, оставив после себя лишь скромные холмики земли да покосившиеся кресты.

Но для нас в Алексеевке Полянской волости Пензенской губернии началась пусть и непростая, но всё же новая, оседлая жизнь. Поначалу мы нашли приют у нашего спасителя, зажиточного доброго дяди, Михаила — человека в селе известного и состоятельного. Однако долго прожить у него нам не довелось. Его сварливая жена всё чаще устраивала скандальные сцены: громко бранилась, топала ногами, упрекала нас в том, что мы — лишняя обуза и дармоеды.

«Да кому нужна такая прибавка к едокам в доме?» — шипела она, бросая на нас недовольные взгляды.

К чести дяди Михаила, он не стал выгонять нас на улицу. Несмотря на давление жены, он помог найти другое пристанище — перевёз нас квартироваться к бедной одинокой женщине. Её ветхая избушка стояла на окраине села: крыша покосилась, ставни скрипели на ветру, а надворная постройка и вовсе едва держалась, готовая вот-вот рухнуть. Но даже в таком жилище было главное — крыша над головой и тепло печи, которое дарило ощущение хоть какой-то стабильности в этом неустроенном мире.

## Глава 7

### Жизнь у Сныкалки

Мы переступили порог этого дома с благодарностью. Пусть он был беден и стар, но здесь нас не гнали прочь, не смотрели с презрением. И это уже было счастьем — знать, что сегодня мы не останемся на улице.

За плетнём, окружавшим двор, виднелась небольшая изба — низенькая, с покосившейся крышей и крошечными окошками, словно прищуренными от времени. Рядом притулились хозяйственные постройки: сарай с прохудившейся крышей, хлев и колодец с журавлём, жалобно скрипевшим на ветру.

Хозяйку все в деревне звали не по фамилии, а по кличке — Сныкалка. Прозвище это прилипло к ней из-за её приговорки: «сны». Что ни скажет, всюду это «сны» вылезало, слово-паразит. Речь её звучала тепло и просто, по-свойски, но необычно из-за этого «сны», невесть как прилепившегося к ней:

— Сны, кума, сны заходи ко мне, сны горячую картошечку есть будем! Сны после вместе чулки вязать сядем, да сны про житьё-бытьё потолкуем...

Что не беднее - то добрее, так говорят в народе. Вот и со Сныкалкой также. Она сначала казалась настоящей доброй душой. На всю зиму устроила нас на квартиру — приютила, обогрела, поделилась тем малым, что имела. В её доме мы наконец почувствовали себя в безопасности: по вечерам сидели у русской печи, слушая, как потрескивают дрова, а стены избы отдавали накопленное за день тепло.

Картошка стала нашей основной пищей. Каждый день на столе была то отварная, то печёная, то в виде похлёбки с щепоткой крупы. Иногда хозяйка делилась с нами последними ломтиками ржаного хлеба — по крошке на брата, но даже эти малые порции казались нам настоящим угощением после долгих дней голода.

Весной мы немного окрепли. К тому времени общими усилиями собрали небольшой запас: приобрели пятьдесят пудов картошки и мешок пшена. Их мы выменяли на нашу гнедую лошадку да старенький фургон, переживший дальнюю дорогу. Именно они когда-то помогли нам преодолеть огромное расстояние, приведшее нас из Поволжья в Пензенскую губернию, а теперь помогли нам выжить второй раз. Правда, увы, не всем... Эти скромные запасы стали для нас настоящим богатством — они давали надежду, что следующая зима не застанет нас врасплох. Но вот постепенно и они подошли к концу, и снова нам пришлось думать о том, как выжить...

Однажды вечером, когда за окном уже сгущались сумерки, а в печи весело потрескивали дрова, мать тихо сказала мне:

— Глянь-ка, Петька, как тепло у неё тут. Слово и не война кругом, не голод...

— Да, — кивнул я, протягивая замёрзшие руки к огню. — В жизни не думал, что простая изба может так согревать.

Сныкалка, невысокая женщина с добрыми, чуть усталыми глазами, поставила на стол дымящуюся миску с картошкой.

— Сны ешьте, детки, ешьте, — улыбнулась она. — Сны картошка — она и сытная, и простая.

— Спасибо вам, — мать поклонилась старой женщине. — Не знаю, что бы мы без вас делали...

— Сны полно, полно, — замахала руками Сныкалка. — Какие сны слова? В такое время друг друга сны поддерживать надо. Что имею — тем сны и делюсь.

\*\*\*\*\*

Но время шло. Однажды Сныкалка, пересчитав скудные запасы в последнем мешке, вздохнула:

— Сны запасы-то наши уж на исходе...

Мы переглянулись. В глазах каждого читался страх — глухой, тяжёлый, удушающий, будто камень, положенный на грудь. Опять мы встали перед необходимостью как-то добывать себе пропитание. Снова начиналась борьба за каждый кусок хлеба.

— Что же теперь делать? — спросили мы мать, кутающуюся в ветхую шаль.

— Пойдём по миру. Другого выхода нет. Будем просить милостыню у добрых людей, где сможем, — отвечала она.

Так и вышло. Чтобы хоть как-то прокормиться, мы ходили от двора к двору, от села к селу, просили подаяния. Стояли у ворот, склоняли головы перед теми, у кого ещё оставались запасы, благодарили за краюшку хлеба или миску горячей луковой похлёбки.

На нас были лохмотья — жалкие остатки прежней одежды. Драная одежонка едва прикрывала плечи, стоптанные валенки пропускали холод, порванная шапка едва держалась на голове, а рваное бельё кое-как защищало от непогоды исхудалые тела. Мы мерзли, голодали, но шли дальше. От бедности и отсутствия каких-либо средств мы стали точь-в-точь походить на персонажей ночлежки горьковского «На дне». Те же тени вместо людей, те же потухшие глаза, тот же вечный вопрос: «Что дальше?»

Как-то раз, уже под вечер, мы остановились у околицы очередного села. Мать опустила на завалинку, закрыла лицо руками.

— Не могу больше, — прошептала она. — Сил нет...

— Надо идти, мама! — обняли её мы. — Вон, видишь дом на пригорке? Попробуем там. Может, сердце у людей не очерствело.

Ночлег в ту новую алексеевскую зиму мы находили где придётся: в заброшенных сараях, под навесами, в стогах сена, если везло. Иногда пускали на ночь добрые хозяева — за работу или просто из жалости. Но изба Сныкалки так и оставалась настоящим спасением.

Когда становилось совсем невмоготу, мы возвращались к ней. Она никогда не упрекала, не напоминала о долгах.

— Сны заходите, заходите, — говорила, распахивая дверь. — Печка сны топится, чем сны богаты — на столе. Отдохнёте хоть.

В её избе пахло коровой, печёной картошкой и дымом. Стены, обшитые старыми досками, хранили тепло, а на полу лежал домотканый половик — грубый, но такой родной. Мы садились у печи, протягивали к огню заочевшие руки и чувствовали, как жизнь понемногу возвращается в онемевшие пальцы.

— Спасибо вам, — шептала мать, едва сдерживая слёзы. — Вы нас спасаете...

— Пустое, сны, — отмахивалась Сныкалка. — Сны в беде друг друга держать надо. А вы уже свои, сны, родные.

Согретые не только печным теплом, но и человеческой добротой, мы мечтали о том, как переживём эту зиму, а там, даст Бог, и весна придёт.

Зимними вечерами хозяйка вводила в избу корову — накормить серым месивом, напоить тёплой водой и оставить переночевать в тепле. Горела лучина, бросая трепещущий свет на бревенчатые стены, рисуя на них причудливые тени. Корова, устроившись рядом с лавкой и заняв почти полкомнаты, жевала сено, время от времени шумно и печально вздыхая, будто думала о чём-то своём, коровьем.

Мы сидели вокруг печи, где на чугунке томилась картошка, источая уютный, обволакивающий запах. В воздухе витал густой, многослойный аромат: дым от лучины, сладковатая прель сена и терпкий дух коровьего помёта — запах, который уже стал для нас привычным, почти родным.

\*\*\*\*\*

Нас было четверо: Ванька, Ленька и Андрюшка, да ещё я, Петька, — самый младший, вечно чумазый и завшивевший. Грязные, измученные, мы по очереди чесали друг другу спины, пытаюсь избавиться от зуда паразитов. Руки двигались машинально, привычно, а глаза уже слипались.

— Слушайте, — вдруг оживлялся Ванька, усаживаясь поудобнее у печи. — А я вам сейчас расскажу, как сыщик Иван Иванович разоблачил банду конокрадов!

Ванька был нашим сказочником. Он сочинял бесконечные истории — в основном вымышленные детективы, смачно сдобренные ароматом коровьего помёта и мерным жеванием жвачки нашей рогатой скотинки.

— Значит, так, — начинал он, и голос его становился таинственным. — В ту ночь, когда луна была круглой, как пятак, а туман стелился по земле, словно парное молоко...

Ленька вытягивал шею, Андрюшка переставал чесаться, а я, прижавшись к тёплому боку печи, слушал, затаив дыхание. Ванька мастерски плел свои истории: там были погони по тёмным улицам, потайные сундуки с золотом, коварные злодеи и, конечно, победа добра.

— ...И тут сыщик достаёт револьвер, — шептал Ванька, понижая голос до шёпота, — и говорит: «Руки вверх, господа хорошие!»

Мы замирали, забыв о вшах, о холоде и голоде. На несколько минут мы становились не грязными беспризорниками, а отважными сыщиками, благородными разбойниками, спасителями принцесс.

Уставшие и измученные, мы засыпали на жёстких лавках, укутавшись в лохмотья. Неважно, хорошо ли мы поели или вовсе остались голодными, — сон всё равно достигал нас, словно спасительное забвение. Мы спали, укутавшись в ветхие дерюжки. Вши и клопы атаковали нас, но усталость брала своё. Сквозь дремоту я слышал, как корова снова вздыхает, как потрескивает лучина, как Ванька бормочет что-то даже во сне.

Хозяйка, потушив огонь, крестила нас по очереди:

— Сны спите, детки. Сны Бог милостив.

Несмотря на грязь и тесноту, эти вечера становились для нас островком тепла и уюта. Зима тянулась бесконечно долго, но постепенно её хватка ослабевала: весна 1921 года медленно вступала в свои права.

\*\*\*\*\*

Однако, не успела ещё пробиться первая травка, прежде чем первые робкие проталины успели появиться на снегу, нас ждало новое испытание. Неожиданно Сныкалка выдворила нас из своей ночлежки. Причина оказалась банальной и жестокой: хозяйка, доведённая до отчаяния нуждой и обидами, решила, что мы — непосильная ноша. Терпение оказалось не бесконечным, и ей пришлось выдворить нас по выдуманной причине.

В тот роковой день Алёша (Ленька), спросонья сходил в сенях по малой нужде не в лоханку, а в кадушку, в которой хранилось немного сала, которая, как назло, стояла рядом. Хозяйка заметила это. Её лицо исказилось от гнева, голос зазвучал резко и беспощадно. Такой Сныкалку мы ещё никогда в жизни не видели. Она обрушилась на мать и на нас с потоком упрёков, размахивая руками и потрясая кулаками:

— Да как вы сны смеете?! — кричала она, задыхаясь от ярости. — Я сны вас приютила, обогрела, а вы еду поганите? Сны неблагодарные! Сны вон из моего дома, сейчас же!

Мы стояли, оцепенев от страха и стыда. В её словах была доля правды — мы действительно осквернили святое — еду... Но сделали это не из злого умысла, а по неосторожности.

— Сны, Макаровна! Сны Ленька, сын твой, в кадушку напрудил! — продолжала крик Сныкалка. — Сны бесстыдник, сны сукин сын! Сны уходите отсюда, куда глаза глядят! И не надо плакать сны!

## Глава 8

### Нищета и скитания. Жизнь на чердаке.

Быстро собрав свои скудные пожитки, мы вышли за порог. В очередной раз мы оказались бездомными. Весенний ветер, ещё холодный и колючий, хлестнул нас по лицам. Впереди ждала неизвестность, а за спиной — дверь, которая только что закрылась для нас навсегда. Мы сели на завалинке неподалёку, под первыми лучами весеннего солнца. Воздух уже нёс в себе обещание тепла, но по утрам земля ещё сковывалась тонким ледком, а дыхание вырывалось белыми клубами.

— Куда уходить, мама? — повторил я вопрос, который мучил нас всех. — Куда? И кто нам здесь рад?

Нас нигде не пускали на ночлег. Мы бродили по деревням, разбившись на маленькие группки — я, Ванька, Ленька и Андрейка. В тех краях люди жили тяжело, но у каждой хаты виднелись небольшие летние сарайчики с чердаками, которые местные называли «светёлками».

— Тай я в хату ни пиду, — говорили они на украинский манер, — пиду в светёлку!

Эти слова звучали почти как шутка, издевательство — на Украине «светёлками» обычно называли уютные горницы, а не холодные чердаки, где нам приходилось искать приют. Но выбора не было.

Вот в такую «светёлку», один мужик, по фамилии Кузнецов, согласился пустить нас на чердак. Он слыл в селе «зубным лекарем» — не настоящим врачом, конечно, а «шептуном», тем, кто умел заговаривать зубную боль и давал советы, какие травы прикладывать. Говорили, что он даже удалял зубы щипцами, доставшимися ему от какого-то фельдшера.

Но пустил нас «шептун» Кузнецов не просто так. Чтобы он разрешил разместиться нам на своём чердаке, нашему брату Ивану, которому только исполнилось семнадцать лет, пришлось жениться на дочке Кузнецова, Машке, которую никто не брал в жёны.

История эта имела печальный финал и чуть было не закончилась для Вани трагически, когда Машкина сущность всплыла на поверхность. Но выбора на тот момент не было, и, чтобы спасти своих близких, Иван вынужденно пошёл на этот шаг, о чём потом много раз пожалел. Об этих событиях подробно я расскажу позже.

Сейчас с ужасом я вспоминаю, какая нищета и темнота царили в русской деревне! В каких нечеловеческих условиях приходилось жить детям! Чердак оказался тесным и пыльным, но там хотя бы не дуло со всех сторон. Мы расстелили на полу старые мешки, набросали соломы и улеглись вплотную друг к другу, чтобы согреться. По вечерам пьяный Кузнецов, зубодёр и «чародей», иногда поднимался к нам. Садился на ступеньку, закуривал самокрутку и начинал несвязно рассказывать истории — про нечистую силу, про клады, зарытые в старых курганах, про далёкие города, где, говорят, люди не знают голода.

Мы слушали, затаив дыхание. В воображении вставали картины: широкие улицы, магазины с полками, ломящимися от хлеба, дети, играющие без страха остаться голодными... А потом он уходил, и мы снова оставались одни в темноте и холоде, голодные и никому не нужные.

Постепенно пришло тепло. Солнце пробивалось сквозь щели в крыше, согревало наши лица, и мы снова вставали — чтобы искать еду и помогать по хозяйству за кусок хлеба. Еще немного, и настало лето 1921 года. После долгих месяцев голода и скитаний жизнь понемногу налаживалась. Гордей Кузнецов, наш благодетель и новый «родственник», выделил нам участок земли — небольшой, но плодородный, где мы могли сажать овощи и надеяться на урожай.

Почти уже взрослые, Иван, Алексей и Дуняша взялись помогать местным крестьянам-середнякам в хозяйстве. С рассвета до заката они пахали землю, косили траву, ухаживали за скотом.

— Эх, спина-то ноет, — вздыхал Алексей, вытирая пот со лба после очередной борозды.

— Зато пожрать будет чего, — бодро отвечал Иван, похлопывая брата по плечу. — Хозяйка сегодня обещала нам дать горячей похлёбки.

За работу им платили едой — иногда миской дымящейся похлёбки, иногда парой печёных картофелин, но и это было настоящим спасением.

Мы же, дети помладше, втроём — я, Андрей и Нюра — чтобы хоть что-то найти съестного, часто уходили «пасться» в лес. Ранним утром, когда роса ещё блестела на траве, мы шагали по узкой тропе под сенью высоких сосен. Воздух здесь был густой, хвойный, напоённый ароматами смолы.

— Смотрите, земляника! — радостно вскрикивала Нюра, указывая на алые бусины среди зелёных листьев.

Ягоды мы ели сразу — сладкие, пахнувшие солнцем, они таяли во рту, даря краткий миг наслаждения. Грибы же аккуратно срезали ножиком и складывали в корзины: подосиновики с бархатистыми шляпками, крепкие подберёзовики, рыжики с волнистыми краями.

— Эти — на сушку, — деловито распоряжался Андрей, перебирая добычу. — Нанижем на нитки, развесим под крышей сарая. Зимой в похлёбку пойдут — вкус дадут да силы.

Со временем Иван с Алексеем и ещё несколько ребят постарше нашли другой способ прокормиться. Они теперь работали на богатых хозяев — кололи дрова, чистили хлева, таскали воду из колодца. Иван распределял задания:

— Ну что, парни, сегодня по пять вёдер на брата, — командовал он. — За это Трофим обещал по горсти крупы каждому.

Иногда им платили деньгами, но чаще — по-прежнему продуктами: куском ржаного хлеба, горстью крупы или той же картошкой. Эти крохи они бережно складывали в общий котёл.

— Всё в общую кучу, — напоминал Иван, выкладывая на стол свои трофеи. — Каждый знает, что нам надо много готовиться, чтобы пережить грядущую зиму.

Мама тем временем устроилась прачкой у одной зажиточной семьи. Каждое утро она уходила к их дому с корзиной грязного белья. Стирала в горячей воде, тёрла щёлоком до красных, потрескавшихся рук, полоскала в студёной речке.

Как-то вечером, когда мы собрались у печи, Нюра робко спросила:

— Мам, а может, не надо так много работать? Руки-то совсем...

Мама улыбнулась, погладила её по голове:

— Ничего, доченька. Руки заживут, главное, что мы теперь хотя бы не голодаем. Видите, какой хлеб сегодня на столе? И похлёбка густая будет.

Вечером, когда все собирались на чердаке «светёлки» у Гордея Кузнецова, мы делили добычу. Зима придёт быстро, надо к ней готовиться.

С разрешения «лекаря» Кузнецова, мужской пол нашей семьи ближе к новым холодам, перебрался в его баню, в «светёлке» стало совсем невыносимо. Из неё мы соорудили себе жилище: укрепили стены, заделали щели мхом, переделали отопление из «чёрного» в «белое» — поставили дымоход. Дым теперь выходил не через крышу — это было опасно, — а через небольшое отверстие в стене, выведенное наружу. Так было надёжнее и теплее. Внутри мы постелили на лавки что смогли, повесили на стену самодельный фонарь. Получилась скромная, но своя крыша над головой — место, где можно было согреться. Мама с дочками, которые уже повзрослели, пристроилась отдельно, в крохотной съёмной квартирке.

Вечерами, когда работа была закончена, мы все собирались в бане Гордея у самодельной печи. В такие минуты казалось, что самое страшное позади. Мы радовались малому: корке

хлеба, чашке чая, улыбке друг друга. Впереди нас ждали новые испытания, но в такие минуты, собираясь остатками нашей семьи мы чувствовали себя почти счастливыми — потому что были живы и вместе.

Из нашей бани смотрело одно подслеповатое окошечко с маленьким подоконником — словно глаз, уставший глядеть на мир. На него добрые люди клали милостыню, обычно ближе к утру: стукнут тихонько в раму — и уйдут, не дожидаясь благодарности. Была в те тяжёлые времена в пензенских сёлах такая традиция — молчаливый договор милосердия между теми, кто мог поделиться крохой, и теми, кого эта кроха могла спасти.

Частички помощи, жалкие подаяния — ломтик хлеба, горсть крупы, варёная картофелина — порой спасали жизни. Мы с Андрюшкой часто проверяли подоконник на рассвете:

— Смотри, — шептал Андрюха, осторожно поднимая тряпицу, — хлеб! И даже кусочек лука!

— Слава Богу, — говорил я. — Сегодня будем сыты.

То было страшное время. Голод, словно хищный зверь, терзал округу. Поволжские переселенцы, измученные лишениями, порой сбивались в голодные стаи и отправлялись на поиски пропитания — не всегда законными путями. Случалось, что в порыве безысходности они совершали грабежи, а порой и убийства. И даже такая милосердная пензенская традиция — оставлять милостыню на подоконниках — использовалась лихими людьми, доведёнными до крайней черты.

## Глава 9

### Смерть и голод

На окраине села, у самого леса, стояла ветхая изба одинокой монашки Антонины. Жила она молитвой да подаянием: добрые люди оставляли на её подоконнике хлеб и картошку. Антонина была одинокой и верила, что зло не коснётся того, кто живёт по совести с Богом.

— Господь упасёт, — шептала она, крестясь на образа.

Но в ту ночь Господь, казалось, отвернулся от неё. Было уже за полночь. Туман окутал село, заглушая звуки. В избе Антонины горела лампада, отбрасывая дрожащие тени на стены. Монашка молилась перед сном, когда вдруг...

- Тук-тук-тук, — услышала она тихий, осторожный стук в окно.

Монахиня улыбнулась.

— Благодарствую, добрые люди, — прошептала она и, накинув платок, подошла к окну.

Она не заподозрила ничего дурного — привыкла к этой ночной щедрости. Распахнула ставню, потянулась за ломтём хлеба, оставленным на подоконнике... И в тот же миг чья-то грубая рука зажала ей рот, а вторая — рванула внутрь. В избу ворвались трое. Лица скрыты тряпьем, в глазах — отчаяние и что-то ещё, более страшное: голод, превративший людей в зверей.

— Где деньги? — хрипло выдохнул один, толкая Антонину к стене.

— Нет у меня денег, — простонала она. — Только хлеба чёрного краюха, вот берите...

— Врёшь! — второй ударил её кулаком.

Монашка упала на колени, схватилась за живот.

— Пощадите... — прошептала она. — Ироды, Господа побойтесь...

Но они не слушали. Опрокинули стол, вытряхнули сундук, перевернули иконы. В поисках несуществующих сокровищ крушили всё подряд.

— Ничего нет, — прошипел третий, топча ногами рассыпавшиеся крошки крупы. — Старая ведьма нас обманула!

— Или спрятала, — оскалился первый. — Надо заставить её сказать.

Они связали её верёвкой, примотали к стулу. Допрашивали. Били. Антонина молчала, только шептала молитвы.

— Не хочет говорить, — прохрипел один. — Значит, пусть молчит навсегда.

Нож блеснул в свете лампады.

Наутро сосед, старик Еремей, заметил, что ставня на окне Антонины распахнута настежь. Это было странно — монашка всегда прикрывала её на ночь. Он постучал. Никто не ответил. Еремей вошёл внутрь и застыл на пороге. Избушка была разгромлена. На полу — следы грязи, крови, разбросанные вещи. А у стола, привязанная к стулу, сидела Антонина. Глаза открыты, смотрят в потолок. На груди — тёмное пятно, расплывшееся по чёрному платью. Старик перекрестился, попятился к двери.

— Убили! — закричал он, выбегая на улицу. — Монашку убили!

Весть разнеслась по селу, как чёрная птица. Люди выходили из домов, крестились, шептали:

— Кто ж такое сотворил?

— Голодные, — мрачно отвечал кузнец. — Голод делает из человека зверя.

Преступников нашли быстро. Голод не дал им скрыться: они попытались продать на базаре вещи Антонины — старый крест, икону, скатерть. Местный торговец узнал вещи — он сам когда-то дарил их монашке. Их взяли на окраине леса, когда они делили еду.

— Мы не хотели, — бормотал один, опуская голову. — Нам есть нечего...

— «Голодный человек опаснее дикого зверя», — шептались люди, и в этих словах была горькая правда.

Их увели. И тут же, за околицей, расстреляли милиционеры. А село ещё долго не могло забыть ту ночь.

Через неделю на подоконник Антонины кто-то положил свежий хлеб. Потом ещё один. И ещё. Люди стали оставлять милостыню снова — но теперь не только для бедных, но и за упокой души убитой монашки. А по вечерам, когда туман стелился у самых окон, старухи с тех пор крестились и шептали:

— Не стучи. Не стучи в окно. Примета плохая. Лучше просто оставь — и уходи.

\*\*\*\*\*

Зима, проведённая в тесной бане, оставила в моей памяти лишь обрывочные воспоминания и ощущения: холод, голод, страх и бесконечное ожидание лучшего дня. Но даже сквозь пелену времени я отчётливо понимаю: та зима закалила нас, научила ценить каждую крошку хлеба и каждую минуту, когда над головой нет угрозы.

Теперь, вспоминая те дни, я осознаю, как хрупка грань между человеком и зверем, когда речь идёт о выживании. Голод лишает рассудка, толкает на страшные, безумные преступления, но в то же время учит ценить простые радости жизни — кусок хлеба, тепло очага, доброе слово. И хотя те времена остались позади, их уроки навсегда врезались в память, напоминая о том, как важно не терять человечность даже в самых тяжёлых обстоятельствах.

## Глава 10

### Пензенский вокзал

К весне 1922 года мы наконец почувствовали, что голод отступает. Впервые за долгое время мы были сыты — мы жили в относительном достатке, и в душе зарождалась робкая надежда. Ванька с Алексеем всё чаще заговаривали о возвращении на родину, в родную Хорёвку. Они мечтали разведать, что там сейчас творится: уцелели ли дома, остались ли соседи, можно ли вообще туда возвращаться всей нашей семьёй. Разговоры эти сначала были робкими, почти несбыточными мечтами, но постепенно в них появлялась уверенность. Со временем желание то стало столь велико, что удерживать их мы не стали.

Наши ходоки — Иван и Алексей — сумели совершить мирную разведку. Они побывали в наших родных краях, осмотрели всё своими глазами, поговорили с местными, узнали, какие есть возможности для жизни. И вот, наконец, вернулись с твёрдым решением и чётким планом: надо выждать, но после обязательно возвращаться домой.

К исходу лета мы начали собираться в путь. До станции Рамзай нас согласился подвезти какой-то мужик на своей телеге. Везли мы с собой весь наш нехитрый скарб: пару одеял, старую посуду, инструменты, мешок с вещами, которые когда-то помогли нам выжить, кое-какой провиант — всё, что удалось сберечь и накопить за эти тяжёлые годы. Расплатиться нам пришлось маминой швейной машинкой, больше платить было нечем...

От Рамзая до Пензы ехали на открытой площадке товарного вагона. Тесно, неудобно — ноги не вытянуть, спина затекает, а холодный ветер пронизывает до костей. Но мы не жаловались: мы ехали домой.

Вагон был полон таких же, как мы, — беженцев, переселенцев, людей, потерявших дом и теперь ищущих его заново. Мы жались друг к другу, чтобы согреться, делились последними крошками хлеба, рассказывали истории о том, откуда идём и куда держим путь.

— А мы из-под Саратова, — хрипло проговорил седой мужчина в потрёпанной шинели, протягивая кусок чёрствого хлеба маленькой девочке. — Дом сторел дотла, скотина померла... Вот и подались куда глаза глядят.

— И мы почти так же, — вздохнула наша мама. — В Хорёвке хоть родня осталась, да земля знакомая...

На вокзале в Пензе нас встретил наряд милиции. Они проверяли документы, расспрашивали о целях прибытия, записывали фамилии.

— Ну-ка, документы, — строго бросил молодой милиционер, хмуро оглядывая нашу измученную группу.

— Да какие у нас документы, товарищ, — тихо ответила мама. — Беженцы мы, домой возвращаемся...

— Тогда фамилия, имя, откуда прибыли, куда направляетесь, — нетерпеливо повторил милиционер, щёлкая крышкой блокнота.

Мы стояли на перроне, уставшие, но полные решимости. Вокруг кипела жизнь: носильщики таскали чемоданы, торговки предлагали пирожки, дети бегали между вагонами. А мы, измученные дорогой, но окрылённые надеждой, смотрели на эту суету, надеясь, что здесь лишь короткая остановка на пути к нашему настоящему дому.

— Ничего, ребятушки, — ободряюще говорила мама. — Передохнём чуток да дальше двинем. Хорёвка нас ждёт.

— А далеко ещё? — шмыгнув носом спросил я.

— Да порядком ещё, — вздохнула мама — Да только средств, чтоб ехать дальше, у нас нет...

И правда, денег не было. Нам пришлось обосноваться на вокзале. Здесь везде царила вечная суета, кутерьма. Раздавался детский крик, перемежаемый бранью взрослых, материнскими причитаниями и отчаянными возгласами. Вокруг царил невообразимый хаос — жестокий, беспощадный: борьба за существование шла постоянно, на глазах у всех.

Мы, прикрытые лишь лохмотьями, бродили по улицам, рылись на городских свалках в поисках съестного. Набирали остатки еды: картофельные очистки, рыбы головы и плавники, полусгнившие овощи, куски хлеба, покрытые плесенью. Всё, что можно было хоть как-то переварить, шло в дело — голод не знал брезгливости.

Однажды, когда мы с Андреем собирали очистки у рыночной лавки, к нам подошла полная торговка в цветастом платке.

— Эй, вы, — окликнула она. — Голодные, что ль?

Мы молча кивнули.

— Вот, возьмите, — она протянула нам два тёплых пирожка. — Только не здесь ешьте, а то другие набегут... Идите вон за тот сарай, там спокойнее.

— Спасибо, добрая женщина! — прошептал Андрей, сжимая в руках драгоценную еду.

Но это было лишь раз, милостыню в городе почти не подавали. Люди, едва сводившие концы с концами сами, не открывали двери стучащим. Порой какой-нибудь дворник отгоняли нас метлой:

— Пошли прочь, паразиты! — рычал он. — Самим есть нечего!

Мы опускали головы и убегали, но не теряли надежды. Впереди был ещё долгий путь до родной Хорёвки, новые испытания и трудности. У нас оставалось только одно — вера. Вера в то, что родной край примет нас, что мы сможем восстановить свой дом, снова посадить огород, собрать урожай и, может быть, даже забыть об этих страшных годах голода и скитаний.

\*\*\*\*\*

День и ночь мы скитались под открытым небом, жили на перроне. Когда наступала ночь, искали хоть какое-то укрытие — чаще всего им становился грязный вокзальный туалет. Там, в тесном и зловонном помещении, мы жались друг к другу, пытались согреться.

Особенно тяжело приходилось в дождливые ночи. Дождь обрушивался на нас ледяной стеной, пропитывал насквозь ветхую одежду, заставлял дрожать от холода. Мы прятались под навесами, забивались в подворотни, прижимались к тёплым стенам домов, если удавалось найти такое место.

Однажды в такую ночь, когда шёл жуткий холодный ливень, мы — я, Анна и Андрей — нашли временное убежище под крышей того самого старого вокзального туалета, который служил прибежищем уже не раз.

Общественный туалет — место было тёмное, почти неосвещённое, — лишь узкая щель под крышей пропускала тусклый свет. Мы залезли в одно огороженное туалетное «очко», подпёрли дверь, поджали ноги и по очереди сидели на кирпичной площадке «унитаза». Время от времени мимо проходили люди: в кромешной темноте они матерились, испражнялись кто куда мог, стучали руками и ногами в двери туалетных выгородок, потом уходили. Мы сторожились, втягивали головы в плечи, прятались. Одни проходили быстро, другие задерживались, но все ломались, барабанили в нашу дверь, а мы тряслись от страха и молчали, слушая их проклятия.

За полночь постепенно поток людей стал редеть. Напряжение понемногу спадало, и мы наконец смогли перевести дух, если так можно сказать про то зловонное место. Стало спокойнее, даже сон начал одолевать — тяжёлый, тревожный, но всё же сон.

Вдруг дождь стих. Мы разом встрепенулись, почувствовав, что можно вырваться на свежий воздух, вдохнуть полной грудью, стряхнуть с себя тяжесть вони, сырости и страха. Но покидать наше временное убежище было опасно — мы знали, что где-то рядом бродят те, кто не прочь занять наше место. На страже нашего «обиталища» осталась наша сестра Нюра.

— Пойдём к своим, — шепнул Андрюха, — скажем маме, где мы. Пусть успокоится.

Мы побежали через лужи, огибая грязные лужи и груды мусора. Ветер трепал наши лохмотья, но мы почти не замечали холода. Когда мы добежали, мама, увидев нас, тут же вскричала испуганно:

— А где Нюрка?

— Там, в уборной, — отвечали мы. — Сторожит наше место.

— Как же вы её бросили? — переполошилась мать. — Срочно приведите её сюда!

Мы шementом помчались обратно. Подходим к уборной — а дверь не открывается. Кто-то изнутри запер её на щеколду, возможно, уборщица, обходя санузлы. Мы начали громко звать:

— Нюрка! Нюра! Открой, это мы!

Но никто не отвечал. Мы стучали всё сильнее, уже с тревогой переглядываясь друг с другом. К нам подошли двое мужчин — рабочие в промасленных куртках. Видят, что мы маленькие, перепуганные, и спрашивают:

— Что случилось, ребятня?

Мы объяснили, что внутри осталась наша сестра, а дверь заперта. Мужчины переглянулись и решили помочь. Один из них, крепкий, с обветренным лицом, упёрся плечом в дверь — и та, старая и разохшаяся, поддалась с треском.

Спичка вспыхнула в темноте, осветив угол туалета, где на куче тряпья дремала Нюрка. Она спала так крепко, что даже грохот ломаемой двери её не разбудил. Голова была запрокинута, губы чуть приоткрыты, а руки крепко обхватили колени.

— Ну и спит, — усмехнулся один из мужчин. — Будто на курорте.

Наконец, мы растолкали Нюру. Она сначала не поняла, что происходит, потом увидела нас, взломанную дверь, незнакомцев — и вдруг начала браниться:

— Да вы что ж творите?! Я же только устроилась, выспаться хотела хоть раз по-человечески!

Мы не выдержали и расхохотались — так нелепо это звучало после всех наших тревог. Нюрка, видя наши лица, тоже не выдержала и прыснула. Мужчины улыбнулись, потрепали нас по вихрастым головам:

— Живите, ребятки. Только осторожнее будьте.

И ушли, оставив нас в нашем странном убежище.

Позже, уже в тепле, за крошками хлеба, мы вспоминали это приключение и смеялись до слёз. Даже в самые тяжёлые времена находились моменты, которые согревали душу.

## Глава 11

### Возвращение

Выбраться из Пензы нам помог случай — встреча с земляком, односельчанином Павлом Трофимовичем Самышкиным. Он как будто появился из ниоткуда: ехал по своим делам из Пензы в Саратов. Мы столкнулись с ним, когда он шёл по пыльной вокзальной площади. Среднего роста, русский, с глубокими пронизательными глазами и правильными чертами лица, в поношенной, но аккуратно застёгнутой гимнастёрке, — он сразу внушал доверие. В его взгляде читалась твёрдость, а в движениях чувствовалась уверенность человека, привыкшего действовать, а не рассуждать. Смелый, настойчивый в достижении цели, быстро находивший общий язык с людьми — таким был комсомолец Пашка Самышкин.

Он увидел нас и сам подошёл к нам — к кучке измождённых детей, жавшихся у стены вокзала, — и остановился.

— Ну, орлы, — сказал он негромко, — что тут сидите? Голодны?

Мы переглянулись. Я робко кивнул. Павел Трофимович вздохнул, достал из кармана краюху хлеба, разделил её на несколько частей и раздал нам.

— Рассказывайте, — приказал он, — как вы здесь оказались? Куда путь держите?

Мы сбивчиво поведали о своих бедах: о голоде, скитаниях, о том, как искали способ добраться до Саратова, где, по слухам, уже можно было найти работу и пропитание. Пашка слушал внимательно, не перебивая, лишь изредка хмурил брови. Когда мы закончили, он решительно хлопнул ладонью по колену:

— Значит, так. В одиночку вам не пробиться. Я сам как раз еду в ту сторону. Помогу, чем смогу.

Павел Трофимович знал, как действовать. Он пробился через бюрократические преграды, которые казались непреодолимыми: убедил дежурного по станции, договорился с машинистом, уладил вопросы с охраной и милицией. Его уверенность и комсомольский билет открывали двери там, где нас бы просто прогнали.

Он помог нам погрузиться на открытую площадку товарного поезда — не самого удобного, зато надёжного способа добраться до Саратова. Мы устроились между ящиками и мешками, прижавшись друг к другу. Павел Трофимович сел рядом, закурил самокрутку и подмигнул:

— Ну что, путешественники, теперь всё будет хорошо. Держитесь рядом со мной — и доберёмся.

Путь был долгим и нелёгким: остановки на полустанках, холодные ночи под открытым небом, скудная еда. Но с Пашкой мы чувствовали себя в безопасности. Он добывал нам хлеб, договаривался с людьми, следил, чтобы никто не обидел.

В Саратове Павел Трофимович не бросил нас. Он помог пересест в пассажирский поезд, где нам без промедления дали зелёный свет добраться до Ершова. А потом, когда пришло время прощаться, он сказал:

— Теперь вы сами справитесь. А мне пора дальше — дела зовут.

Мы стояли и смотрели, как он уходит по пыльной дороге, размашисто шагая и насвистывая какую-то бодрую мелодию.

— Спасибо, Павел Трофимович! — крикнули мы вслед.

Он обернулся, махнул рукой:

— Не за что, ребята. Живите да помните: человек человеку — брат.

Позже мы узнали, что он отправился дальше — на комсомольские стройки, чтобы помогать строить новую жизнь там. Но след, который он оставил в наших сердцах, остался наве-

гда: урок доброты, стойкости и веры в то, что даже в самые тёмные времена найдётся тот, кто протянет руку помощи.

\*\*\*\*\*

Станция Ершов являлась небольшим поселением, словно выросшим вокруг железной дороги. Оно напоминало миниатюрную вселенную, где всё вращалось вокруг стальных путей и грохота проходящих составов.

От центрального узла — депо — лучами расходились четыре-пять улиц, уходивших на север: восточная Прудовая — тихая, с небольшими прудиками вдоль обочин; западная Новоузенская — более широкая, оживлённая, с редкими лавками и складами; ещё пара безымянных улочек, петляющих между домами.

Дома здесь были в основном саманные, небольшие. Редко встречались строения с тесовыми крышами — они сразу бросались в глаза, как знаки достатка и старания хозяев. Улицы заросли травой, а по обочинам стояли деревянные колодцы с журавлями, поскрипывающими на ветру.

Вдоль железнодорожного полотна тянулись ряды домиков железнодорожников — скромных, но крепких. В них жили путевые рабочие, каждый день проверяющие рельсы и шпалы, ремонтники, чинившие пути после долгих зим, машинисты, управлявшие паровозами, кочегары и мастера, следившие за исправностью составов.

Среди них выделялись свои местные знаменитости. Например, Дуванов Иван Андреевич — опытный машинист, уважаемый на станции за спокойствие и мастерство. Рядом с ним часто видели Грачёва — человека с тяжёлой судьбой: со временем он пристрастился к выпивке, но когда-то был одним из лучших кочегаров, — и многих других, фамилии которых так и остались для меня неизвестными.

Эти люди положили начало целым династиям железнодорожников. Их дети и внуки продолжали работать на станции, перенимая традиции отцов. Те фамилии — Дувановы, Грачёвы — стали здесь почти легендами. Потомки тех первых рабочих и по сей день трудятся на железной дороге, сохраняя память о предках и их делах.

Единственным архитектурным украшением городка был двухэтажный кирпичный дом неподалёку от станции. Он заметно выделялся среди саманных строений: строгие линии, большие окна, добротная кладка. Когда-то в нём размещалось управление железной дороги, а позже — контора начальника станции.

По вечерам, когда солнце садилось за горизонт, а составы замедляли ход, станция затихала. Из труб поднимался дым, в окнах загорались огни, и посёлок, казалось, засыпал под мерный стук колёс последнего уходящего поезда. Но уже утром всё снова оживало: люди спешили на работу, паровозы выпускали клубы пара, а станция Ершов продолжала жить своей размеренной, трудовой жизнью.

Двухэтажный кирпичный дом по-прежнему остаётся главным архитектурным памятником станции Ершов. Величественное здание с массивными окнами и строгой кладкой, оно и сегодня не уступает по своему достоинству новым двухэтажным многоквартирным домам, выросшим на Интернациональной и других улицах.

Когда-то здесь размещались специалисты и руководители паровозного депо — инженеры, мастера, начальники смен. В этих стенах принимались важные решения, составлялись графики движения, обсуждались планы ремонта путей. Теперь здание немного обветшало, но всё ещё хранит следы былой значимости: на фасаде сохранились чугунные цифры «1912» — год постройки, а на подоконниках цветут герани, заботливо расставленные нынешними обитателями.

Первым железнодорожником в Ершове из нашей семьи и вообще из Моховских, был Тяпкин Иван Макарович — родной брат моей мамы. Он жил на Новоузенской улице и работал путевым рабочим. Кроме того, являлся активным церковным служителем, человеком стро-

гой морали и традиционных домостроевских устоев. Несмотря на свои религиозные взгляды, однажды дядька Иван показал своё звериное лицо и чуть нас не убил. Об этом чуть позже.

\*\*\*\*\*

Мы, как многие другие, возвращались в родные края, в разорённые сёла и деревни — грязные, оборванные, измученные долгой дорогой. В день нашего приезда нас, конечно, никто не ждал и никто не встретил в Ершове. Нам оставалось только идти с вокзала пешком в родное село Моховое. Шли мы почти два десятка километров через холодную и пустую степь, заросшие травой буераки, пробирались сквозь густые заросли кустарника, огибали овраги, где ещё недавно бегали в детстве. Вокруг царил тишина — ни людей, ни домов, только ветер шумел в высокой траве да изредка перекликались птицы.

Порой вдалеке мелькали тени: это волки, осторожно пересекали пустошь. Они словно наблюдали за нами — чужими в этом когда-то знакомом краю. Над нами раскинулось бескрайнее степное небо. В вышине кружили хищные птицы — степные орлы и беркуты. Они то замирали на месте, распластав крылья, то стремительно бросались вниз. С большой высоты они взмывали вверх и снова начинали кружить, высматривая мелкую дичь — сусликов, полёвок, случайных зайцев. Постепенно их поведение подсказало нам страшную правду: степь опустела от голода. Не было слышно привычного стрекотания кузнечиков, не бегали по склонам сурки, даже жаворонки почти не пели. Всё живое словно ушло или погибло.

Наконец, мы вышли на старую дорогу, едва заметную под слоем песка и земли. Она вилась между холмами, петляла вдоль пересохшего ручья и наконец вывела нас к окраине села. Вдали показались крыши домов — покосившиеся, но родные.

— Дошли, — тихо сказал Ванька, вытирая пот со лба. — Домой вернулись.

Я глубоко вдохнул знакомый с детства степной воздух — запах земли, дыма, сухой травы. Да, мы были грязны и измождены, но теперь мы были дома. И пусть впереди ждали новые трудности, в тот момент мне казалось, что всё будет хорошо. Потому что здесь, среди этих холмов и старых домов, начнётся наша новая жизнь.

Где-то после полудня мы вошли в Моховое. Улица, поросшая лебедой и черноталом, предстала перед нами словно необитаемый остров. Ни единой души — так нам показалось сначала. Дома стояли покосившиеся, с выбитыми окнами, дворы заросли бурьяном выше человеческого роста. Ветхие заборы завалились, калитки скрипели на ветру, будто стонали от тоски.

Но нет — нас заметили. Из-за угла крайней избы вышел человек. Он двигался медленно, неуверенно, словно боялся, что видение исчезнет. Это был наш односельчанин, чудом оставшийся в живых. Он подошёл ближе, взгляделся в наши лица и вдруг охнул:

— Живые... Неужто вернулись?

Мы сели у нашей землянки, прижавшись друг к другу. Изнурённые, истощённые, с провалившимися глазами и тёмными кругами под ними, мы и правда напоминали призраков, скелетов, обтянутых кожей. Одежда висела на костях, руки дрожали от слабости, волосы спутались и покрылись пылью. Мы казались тенями тех, кем были когда-то, — заброшенными и забытыми под этим безжалостным небом, поросшим диким волчьим лыком и полынью.

— Вы откуда? — тихо спросил односельчанин.

— Из Пензы... — прошептала мама. — Шли долго. Голодно было.

Мужчина покачал головой, вытер рукавом поблёкшие глаза, над которыми нависли сраженные, тяжелые брови, почти полностью закрывающие их:

— И у нас не лучше. Хлеб и тот — пополам с лебедой.

Тут к нам, как тени, потянулись другие люди из покосившихся землянок.

— Ох, батюшки, да это же Макаровна! — вдруг воскликнула одна из женщин, прикрыв рот рукой. — Вернулась! Своими ногами, живая! Со своими ребятами в полной живности вернулась! Родное село, видать, силой большой владеет! Вот ведь оно как, дело-то получается!

Она стала плакать, обнимать и целовать нас сухими губами. Это оказалась наша соседка, тётка Иванова.

Родное село, которое мы помнили цветущим и шумным, теперь выглядело чужим и опустошённым. Но среди этой разрухи всё ещё теплилась жизнь. Местами шёл редкий дымок из труб, раздавались скрип калитки и слабый крик ребёнка вдалеке.

— Домой вернулась, значит, — заговорила наша соседка, тётка Иванова, проплакавшись. Её лицо, изборождённое морщинами, осветилось доброй улыбкой. — Слава Богу, жива. А вы все свеженькие, а мы как Божие приведения ходим...

К нам подошла Аграфена Уламонова, мамина родная сестра. Она окинула нас внимательным взглядом, покачала головой и вздохнула. Вдруг забила себя по коленям заголосила, запричитала:

— Как же вы жить-то будете? Землянка полуразрушена, полы выдраны и сожжены. Ведь голод и холод доконают вас! Пожили бы вы ещё в Пензе, коли туда залетели! Ох, горюшко ты моё горькое!

— Раз уж вернулась из Пензы, — улыбнулась мать, — значит, судьба мне здесь быть. А вы рядом. Вдвоём, втроём — да хоть всем селом — переживём. Горе — оно на всех одно, а радость потом делить будем.

Я огляделся вокруг. Да, село изменилось. Да, было тяжело. Но люди остались. Они не сдались, не разбежались, не потеряли человеческого лица. И в этом была единственная наша надежда.

Так нас встретили родные и близкие, те, кто выжил. Но реальность оказалась суровой: голод не разбирал, кто беден, кто богат — он стучался в каждый дом. Люди выходили из своих жилищ с разным экономическим положением: одни едва держались на ногах от истощения, другие, хоть и не жили в изобилии, всё же имели какие-то запасы. На чужом горе наживались немногие — и такие случаи вызывали осуждение в эти тяжёлые времена.

## Глава 12

### Новая реальность в Моховом. Жизнь после...

В Моховом, нашем селе, выделяющихся своим достатком семей почти не было. Все жили примерно одинаково тяжело: делили последний кусок хлеба, помогали друг другу, чем могли. Но в соседних сёлах картина была иной. В Новой Слободке (Сулах), в Ганновке и Успенке, в Перекопном — там ещё сохранялись крепкие крестьянские хозяйства. У некоторых семей имелся рабочий скот: упитанные лошади, коровы с блестящей шерстью, овцы, дающие шерсть и мясо. Во дворах держали птицу — кур, гусей, индюков, — а возле будочек у ворот важно расхаживали сторожевые псы, охранявшие хозяйство.

Особенно выделялись Малявины, Кимкины, Рыженковы, Шихановы, Диденковы, Субботины, Бутенковы и Лученковы. Их так и называли — «богачи», хотя это слово звучало не как похвала, а скорее как ругательство. Они сумели сохранить скот, зерно, инструменты, а кое-кто даже наладил обмен с городскими торговцами. Со временем разрыв между зажиточными крестьянами и нищей беднотой, как наша семья, становился слишком велик, менялись отношения, «богачи» превращались в кулаков-мироедов.

\*\*\*\*\*

А мы тем временем обустроивались в своей землянке. Стены укрепили ветками и обмазали глиной, чтобы не дуло. Полы тоже сделали глинобитными — утрамбовали землю, пролили водой и оставили сохнуть. Поставили простую печь из камней, обмазанных глиной: она давала тепло и позволяла готовить еду. Над входом повесили старую дерюжку вместо двери — не Бог весть какая защита, но хоть от ветра спасала.

Чтобы хоть как-то починить нашу землянку, камни мы подбирали по всей округе, глину месили сами, а для окон использовали осколки стекла, собранные по всему селу. Получились небольшие, неровные окошки, но сквозь них в наше убежище проникал дневной свет — робкий, но такой желанный.

Тепло от печки постепенно вытесняло сырость и плесень, которые успели поселиться в углах. Запах горящих дров смешивался с запахом земли и сухой травы — и это был самый родной запах на свете, запах дома.

Рядом с землянкой разбили небольшой огород. Земля была истощена, но мы вложили в неё всё, что могли: золу, перегной, даже остатки пищи закапывали, чтобы удобрить. Посадили картошку, репу, немного лука и моркови. Каждый день ходили проверять, не появились ли ростки, и верили, что хоть какой-то урожай соберём.

Однажды к нам зашёл дед Прохор из соседнего дома. Посмотрел на наш огород, покачал головой:

— Не густо, — сказал он. — Но дело верное. Земля — она благодарная, если с душой к ней. Я вам семян ещё принесу, а сейчас вот, гляди — репа хорошая, урожайная.

Мы поблагодарили его, а он махнул рукой:

— Да чего там. Вместе выживем.

И в этих словах была вся правда. Да, кто-то жил чуть лучше, кто-то хуже, но в конечном счёте многие понимали: только помогая друг другу, можно пережить эти тяжёлые времена. Голод, разруха, лишения — всё это отступит, если люди не перестанут быть людьми.

Кто-то из соседей поделился с нами столом — старым, с трещинами, но крепким. Ещё принесли скамью и деревянную кровать с соломенным матрасом. Она заняла проём между печкой и стеной, оставив совсем немного свободного места. Но нам хватало — мы умещались тут четвером, и даже радовались тесноте: так было теплее.

На столе стояла керосиновая коптилка с фитилём, заменившая лучину — наше единственное освещение по вечерам. Когда керосина не хватало, заменяли его жиром, а в крайней

необходимости опять жгли лучину. Иногда соседи делились с нами подстилками и одеялами — кто-то отдавал старый тулуп, кто-то — домотканое покрывало. Мы принимали всё с благодарностью, аккуратно складывали у стены и берегли как сокровище.

И опять, в который уже раз, мы оказались на краю нищеты. Снова надо было где-то достать пропитание. Средства к существованию мы добывали с первых дней, бродя по миру с протянутой рукой. Выходили на дорогу рано утром, шли от дома к дому и просили:

— Подайте, Христа ради...

Иные хозяева что-нибудь да подавали: корку хлеба, остатки со стола, горсть сушёных ягод. Бывало, принесут варёную картофелину или миску постной похлёбки — и это казалось настоящим праздником. Не все могли себе позволить помогать нам.

— Не прогневайтесь, — качали головой они, — у самих ничего нет.

Снова началось наше нищенское существование. Ели лебеду — она стала основой нашего рациона. Из неё готовили похлёбку: собирали горькие стебли и листья, сушили, толкли в муку и варили в воде до состояния клейкой массы. Это мы называли «щи с лебедой». Лебеду добывали с трудом: выкапывали корни из глубины земли в оврагах, собирали последние пучки травы на склонах, где ещё недавно росли злаки. Корни были грубыми, волокнистыми, а их вкус вызывал сильную жажду. Но выбора не было — мы ели и это.

Похлёбка из лебеды, хоть и давала ощущение сытости, на самом деле лишь перегружала организм. После каждого приёма пищи тяжесть в животе не проходила часами, а к ночи становилось совсем плохо: ломило кости, кружилась голова, тело будто наливалось свинцом. Утром нас было не узнать — мы были все отёкшие, вздувшиеся, как рыхлая, движущаяся масса. Постоянное употребление лебеды в разных видах наносило удар по здоровью. Желудок бунтовал: появлялись боли, тошнота, расстройство пищеварения. Организм слабел, кожа становилась сухой, волосы выпадали, а силы уходили с каждым днём.

Но это было не всё. Лебеда, собранная на загрязнённых участках, нередко становилась причиной заражения кишечными паразитами. В селе участились случаи плоских глистов, а следом пришли и другие болезни: вспышки желудочных расстройств, слабость, лихорадка. К весне ситуация ухудшилась — началась эпидемия малярии. Люди бледнели, их била дрожь, температура поднималась до опасных отметок. Многие не выдерживали: ослабевшие организмы не могли бороться с болезнью.

\*\*\*\*\*

Одним из немногих шансов на выживание стала общественная столовая. Её открыли в половине здания бывшего поповского дома. Стояла она почти за околицей села, в стороне от жилых домов, рядом со старой деревянной церковью, что расположилась чуть поодаль от основной улицы, почти у самого кладбища — будто сторожила границу между миром живых и ушедших. Постройки вокруг обветшали: купола потемнели, кресты покосились, а ступени крыльца покрылись мхом. Но церковь всё ещё стояла — молчаливый свидетель времён, переживший и праздники, и беды. Сюда каждый день в обеденное время приходили дети дошкольного и младшего школьного возраста за своей порцией рисовой каши. «АРА», так её называли. Давали всего по черпаку на человека один раз в день, но для нас и это был настоящий праздник. Ведь для многих это была единственная горячая еда.

Кашу в народе прозвали «американкой». Говорили, что государство, истратив последние запасы, закупило рис в Америке — лишь бы спасти людей от голодной смерти. Деньги уходили на эти закупки, золото тратилось, но выбор был прост: или потратить остатки резервов, или допустить вымирание целых деревень. И власти выбрали первое.

Мы выстраивались в очередь рано утром, дрожа от холода и слабости, и терпеливо ждали. Когда в руках оказывалась миска с тёплой, чуть сладковатой кашей, мы ели медленно, стараясь растянуть удовольствие и запомнить это ощущение — когда в животе не пусто, когда есть хоть какая-то сила в руках.

Однажды к нам подошла фельдшерица, Анна Петровна. Она осмотрела нас, покачала головой:

— Вы же совсем на исходе, — тихо сказала она. — Лебеда — это не еда. Она не даёт сил, только мучит желудок.

— А что делать? — спрашивали бабы. — Другого ничего нет.

— Знаю, — вздохнула она. — Но постарайтесь хоть зелень собирать: крапиву молодую, щавель. Там хоть витамины есть. И воду кипятите обязательно.

Люди поблагодарили её, а она добавила:

— Держитесь. Лето уже близко. Трава пойдёт — будет легче.

И мы держались. Ели лебеду, пили кипячёную воду, делились последней порцией каши с теми, кому было хуже. Каждый день был испытанием, но мы верили: если доживём до тепла, если увидим первые зелёные ростки, — у нас появится шанс. Шанс восстановиться, встать на ноги и снова начать жить, а не просто выживать.

\*\*\*\*\*

Но лето, время, когда становилось легче и природа кормила, пролетело как один миг. Вслед за ним прошла и осень с грибами и последними урожаями. Зима надвигалась быстро. С каждым днём становилось холоднее, а запасы топлива таяли. Люди готовились к стуже: добывали всё, что могло гореть. В оврагах и ямах серпами и ножами срезали сухую траву, собирали чернотал, ломали ветки на берегах реки Моховой. Всё шло в дело: бурьян, старые доски, обрывки веревок, даже высохший навоз. Каждая связка хвороста, каждый пучок травы становились драгоценностью — топливным ресурсом на долгие зимние месяцы.

Мы с Ванькой тоже ходили за топливом. Брали с собой мешки, тупые ножи и старую лопату.

— Смотри, — показывал Иван, — вот этот куст ещё сухой. Режем!

Мы рубили жёсткие стебли чернотала, складывали в мешок. Руки мёрзли, пальцы не слушались, но мы помнили, что если не принесём хоть что-то, ночью в землянке будет невыносимо холодно.

Возвращаясь домой, мы несли свой скудный урожай с гордостью. Это были не дрова, а жалкие остатки природы, но они могли согреть нас ещё на одну ночь. Самое главное для нас было — сохранить огонь. Огонь в печи. Огонь в сердце. Огонь надежды.

Пережить зиму в столь сложных обстоятельствах было непросто. Но мы держались вместе — помогали друг другу, делились последним куском хлеба и верили, что весна, до которой ещё так далеко, снова принесёт облегчение. Наша мама, женщина решительная и хозяйственная, наученная горьким опытом, принимала все возможные меры, чтобы прокормить семью и пережить эту зиму. Она солила и сушила остатки овощей, собирала дикорастущие травы. Каждое утро начиналось с проверки запасов и составления плана на день: что можно добыть, у кого попросить помощи, где найти хоть что-то полезное.

Алексей, третий по старшинству брат, был отдан в подмастерья к сапожнику из хутора Пушкинский, бывшего владения помещика Кирапанова. Тот не был богат, но дело своё знал крепко. Алексей трудился от зари до зари. Он чистил инструменты, готовил клей, подносил кожу, а со временем начал и сам подшивать подошвы, ставить заплатки. Хозяин иногда подкармливал его остатками обеда, что было для него спасением.

Дуся, старшая сестра, устроилась домработницей к Малявиным в Новой Слободке. Это была зажиточная семья, и хотя работа была тяжёлой — стирка, уборка, уход за детьми, — Дуся получала еду и немного денег. Раз в неделю она приносила нам остатки ужина с «барского» стола: корочку хлеба, пропитанного маслом, кусочек варёного жёсткого мяса, которое не смоли прожевать, иногда даже немножко варенья. Мы встречали её с радостью и благодарностью — каждая такая передача давала нам силы продержаться ещё немного.

Иван устроился на железную дорогу в Ершове — работал на путях под началом опытного путевого мастера. Он проверял рельсы, менял шпалы, очищал насыпь от снега. Возвращался домой грязный, усталый, пропитанный запахом креозота, смолой и паровозной копотью. Но улыбался и говорил:

— Зато платят. И кормят в столовой.

Иногда он приносил нам хлебные корки, которые прятал в кармане, или кусочек сахара, подаренный машинистом. Мы заваривали чай с сушёной мятой и пили его медленно, смакуя каждый глоток.

## Глава 13

### По миру

Нас при матери осталось трое – я, Андрей и Нюра. По настоянию матери мы с Андреем иногда ходили просить милостыню в Суслы, где было много богатеньких хозяев. Выходили рано утром, пока люди не разошлись по делам, и обходили дома.

— Подайте, Христа ради, — шептал Андрей, опустив глаза.

Кто-то подавал, бывало, что и прогоняли, но мы не обижались. Понимали: у всех тяжело.

В один день, когда животы сводило от голода, мы решили наведать нашу Дусю в Суслах — мы надеялись хоть что-то раздобыть поесть у её состоятельных хозяев. Дорога заняла почти два часа. Наконец, показались высокие ворота Малявиных — крепкие, из толстых досок, с коваными петлями. Во дворе, на солнечной площадке, лежали, свернувшись клубком, две крупные собаки: одна чёрная, другая пёстрая, с белыми пятнами на лбу. Они приоткрыли глаза, когда мы подошли, и глухо зарычали.

Мы остановились у калитки, переглянулись.

— Ну что, — шёпотом сказал Андрей, — пойдём?

Я кивнул. Он толкнул калитку, та скрипнула, но открылась. Вошли во двор, стараясь не делать резких движений. Собаки поднялись, оскалились, но не бросились, хотя глаза их кроважно искрились. Мы быстро прикрыли за собой дверь дома, сняли шапки и перекрестились на образа святых в красном углу.

— Подайте милостыню, Христа ради, — тихо произнёс я, опустив глаза.

Тишина. Ни звука, ни шороха. Никто не отвечает. Мы постояли, переминаясь с ноги на ногу. В доме было тепло, пахло печёным хлебом, где-то тикали часы.

— Что делать? — шепнул Андрей.

— Уходить, конечно, — так же тихо ответил я. — Но...

Я оглянулся на дверь. За ней, во дворе, ждали собаки. Обратно просто так, мирно, они нас не выпустят — это мы поняли сразу. Но что делать? Деваться некуда, надо идти от греха подальше. Вышли на крыльцо. Чёрная собака тут же поднялась, зарычала, оскалила зубы. Пёстрая последовала её примеру. Они медленно окружили нас, не давая подойти к калитке.

— Тихо, тихо, — прошептал Андрей, протягивая руку к забору. — Не беги, главное.

Мы начали отступать вдоль стены, шаг за шагом, стараясь не провоцировать псов. Собаки шли следом, низко рыча. Вдруг они резко, как по команде, встали в стойку, шерсть на загривках вздыбилась, после чего обе кинулись на нас. Чёрная – на Андрея, белолобая – на меня. Огромные псы стали драть нашу и без того ветхую одежку, всю дырявую и в заплатках. Кончилось бы всё это самым наихудшим образом, разорвали бы нас собаки насмерть, если бы не случайная помощь. Возле двора Малявиных нас увидел сосед, Чибриков — местный мужик с суровым лицом, но добрым сердцем. Он спас нас от разъярённых псов-волкодавов.

Он отогнал собак толстой дубиной, а потом поднял нас с земли — мы упали, когда псы бросились на нас. Чибриков помог нам оправить от испуга – крупная дрожь била нас с братом, колени тряслись мы не могли промолвить и слова, и проводил нас подальше от опасного места, до самой улицы.

— Ребята, а вы чего тут? — спросил он нас на прощание. — Опять за милостыней?

Мы молча кивнули. Чибриков вздохнул, оглядел нас с головы до ног, покачал головой:

— Да вы же совсем на исходе...

Он сунул в руку Андрея пару картофелин и кусок чёрствого хлеба:

— Берите. И больше сюда не ходите. Эти псы не шутят.

Мы поблагодарили его, поклонились в пояс. Он махнул рукой:

— Идите с Богом. Да держитесь.

На всю жизнь для меня остались страшны те малявинские собаки. Даже много лет спустя, стоит мне закрыть глаза, перед взором снова возникают их оскаленные морды, рычание, сверкающие глаза. Этот страх глубоко засел в душе — как напоминание о том, как хрупка человеческая жизнь, когда ты слаб и беззащитен. Я часто во сне снова и снова вижу это малявинское собачье нападение, собачье отродье, которое чуть было не стоило нам с братом жизни.

Я, уже подросший, прошедший множество испытаний и трудностей, к тому времени закалился, как сталь, и становился всё жёстче. Не раз я участвовал в драках и кулачных боях, а прозвище в детстве мне сельские ребята дали «Щетинка» за щетинистый характер и неподдающиеся укладке вихры на голове. Уже тогда я не прощал обид, был жёстким и всегда давал сдачи, поэтому мог только затаить злобу и ждать, когда представится возможность отомстить.

\*\*\*\*\*

Когда мы с Андрейкой возмужали, годам к тридцатым, мы не забыли того случая. И хотя мы старались всё делать по совести, помогать другим, в глубине души всё равно теплилась обида на тех, кто жил в достатке, но не замечал чужой нужды.

В одну позднюю осеннюю ночь мы с Андреем решили наконец-то поквитаться за детские страхи в кулачном бою, мне тогда было лет шестнадцать. Собрали небольшую компанию — таких же нищих бедняков, как мы сами, кто тоже когда-то пострадал от жестокости или равнодушия Малявиных. Мы выследили суловских ребят, среди которых был самый молодой малявинский мироед, Санька. Потом долго, километра два гнали их по степи да по селу. Ветер хлестал в лицо, шумел в деревьях, дождь стучал по крышам, а мы всё бежали, не чувствуя усталости, ненависть гнала нас вперёд. Для нас с Андреем была единственная мишень — Санька Малявин. Кто-то другой из наших наконец догнал Сашку у самого его дома, и мы повалили его на землю. Потом били долго, зло, ногами и руками, пока тот не перестал сопротивляться.

— Это тебе за собачье нападение, — проговаривал я, прикрывая ссадину на колене.

— А это — за собачье поведение, — добавлял Андрей, поправляя разорванный рукав и прикладывая Малявину ногой в живот.

Эти слова, как заноза, засели в памяти. Они звучали обвинением, приговором, от которого не скрыться. Кровь хлестала из разбитого носа младшего Малявина. А ветер крепчал, кружась вокруг полуразрушенных домов, и капли дождя пронизывали, как тысячи игл.

— Ладно, хватит с него, а то до смерти забьёте, — остановили нас наши поделники, — Скажем прямо — нехорошо так жить, когда рядом люди голодают. Надеюсь это станет ему уроком

Мы остановились, не стали его добивать. Просто постояли, посмотрели, как внутри малявинской избы горит тёплый свет, как за столом сидят сытые люди, и молча разошлись, оставив Саньку Малявина в грязи на земле перед его же домом. Настоящая сила, она не в мести, а в том, чтобы не стать такими же.

С детских лет я знал: если когда-нибудь у меня будет хоть что-то лишнее, я не стану прятать это за высоким забором. Я поделюсь. Потому что запомнил на всю жизнь, каково это — стоять у чужой калитки, дрожа от холода и страха, и надеяться на каплю доброты.

## Глава 14

### Как я попал в приют бездомных и беспризорников

Холод сковал поля, ветер выл, будто раненый зверь, а снег ложился тяжёлыми пластами, скрывая под собой всякую надежду на тепло. Мы сидели на холодной земле, съёжившись от мороза. Андрей тёр уши, я кутался в дырявую куртку. Зима надвигалась неумолимо. Холодная, голодная, беспощадная. Как пережить её в этот год? Где найти еду? Тётушка Уламонова, с глазами, полными решимости, настаивала сдать нас, малых детей, в приют.

«Так будет лучше, там выживут», — повторяла она, будто пытаюсь убедить не только нас, но и себя.

По совету тётки Уламоновой, наша мать наконец приняла решение:

— Хватит вам по улицам шататься. Поедете все втроём в приют, что стоит рядом с Ершовым. Там хоть накормят, обогреют.

Приют тот размещался в двух деревянных казармах, оставшихся ещё от военных. Серые, обветшалые здания с покосившимися крышами стояли на отшибе, окружённые невысоким забором. Место было глухое, но хоть какое-то пристанище.

В приюте собирали беспризорных, безродных детей и подростков, которые сбивались в группки или бродили в одиночку по городам и станциям, ночевали в развалинах, под лодками, в заброшенных сараях, в ущельях. Многие из них, лишённые тепла и заботы, постепенно превращались в несовершеннолетних преступников — воровали, дрались, теряли человеческий облик.

Но мы с Андреем были другими. У нас была мать, было родное гнёздышко в селе неподалёку от станции. И хотя дом наш стоял полуразрушенный, а запасы давно кончились, это всё равно был наш дом.

— Но как же мы попадём в приют? — сказал я матери. — У нас же есть семья, дом, мы же не беспризорники.

— Да так и попадёте. — безжалостно ответила мама. — Дуся вас отведёт поближе к приюту и оставит там одних. Бог вам поможет. Да и мир не без добрых людей, глядишь кто-нибудь сжалится, пристроит.

Так и решили исполнить этот «план». Другого выхода у нас не было. Дуся повела нас в Ершов. Дорога заняла полдня. Мы шли через заснеженное поле, обходили замёрзшие лужи, прятались от колючего ветра за деревьями. Вдали скрывались крыши домов, дымок из труб, очертания нашего села. Поздним вечером, когда небо затянули тяжёлые тучи, а воздух пропитался сыростью и отчаянием, мы, наконец, дошли, и Дуся сделала то, что казалось последним шансом на спасение. Она оставила нас — детей, забытых этим миром, — под старыми сарайчиками, рядом с полуразрушенными казармами. Дуся просто развернулась и молча ушла, не сказав ни слова на прощание. Мы остались одни, брошенные на милость судьбы, а наша сестра рассчитывала на одно: что кто-то, движимый жалостью, подберёт нас и устроит в приют. Это было жестоко, хотелось плакать от одной мысли, что нас бросили, оставили.

Так или иначе, но наш «план» удался, и мы оказались в детдоме — или, как некоторые называли его, приюте. Он располагался в строениях, где стены давно потрескались, а коридоры пахли сыростью и отчаянием. Здесь время текло иначе — медленно, вязко, как смола, наполнившись болью и страданием. Зима казалась бесконечной: холодная, голодная, безжалостная. Как пережить её? Как не погибнуть в этой серой мгле?

Мы оказались в двух деревянных казармах, приютившихся на склоне горы, в нескольких десятках километров от родного дома. Казармы — слово жёсткое, словно удар кнута. Но здесь нам предстояло жить. Мы стали «приютскими», «детдомовскими» — ярлыками, которые приклеились к нам, как грязные пятна на одежде.

Наша жизнь разделилась на зоны, словно в тюрьме. Нюра оказалась в «девичьей» половине казармы, здесь воздух был пропитан тихим девчачьим плачем и мечтами о доме. А мы с Андреем попали в другую реальность — в комнату «отчаянных оборванцев», колонистов, как её называли старшие. Здесь царили свои законы: выживает сильнейший. Это было логово воров и забияк, где каждый день превращался в борьбу за существование. Животная беспощадность стала нормой. Здесь не было места слабости — только когти, зубы и холодная расчётливость.

На следующий день наша прежняя жизнь окончательно рассыпалась, как карточный домик. С нас сорвали рублище — последние остатки прежней жизни, жалкие обрывки одежды, которые хоть как-то защищали от холода. Их заменили на «американские» клетчатые робы — безликие, грубые, словно тюремные, не стиранные, не глаженные. Эти робы не согревали, а лишь подчёркивали нашу беспомощность. Приют стал лоскутным одеялом из чужих судеб. Здесь собрались те, кого жизнь выбросила на обочину: бездомные дети, подростки, скитавшиеся по городам, ночевавшие в развалинах и прятавшиеся в подвалах. Они приходили группами или в одиночку, грязные, голодные, с пустыми взглядами. Среди них немало было несовершеннолетних преступников — тех, кто уже успел вкусить горькую чашу преступления и наказания, и даже малолетних убийц.

Каждый из них носил на себе печать прошлого: у многих шрамы от ножей, у всех поголовно синяки от побоев и драк. Взгляд этих детей, наполняли ужас и безысходность. Они вынуждены были выживать в жестоком мире, но здесь, в приюте, им предстояло научиться этому же самому но ещё сильнее.

Первые же дни в приюте стали для нас испытанием, которое навсегда изменило наши души. Мы столкнулись с горькой судьбой этого места, где детство умирало раньше времени. Ночью, когда казармы погружались в полумрак, а тишина становилась удушающей, начиналось самое страшное.

Обнаглевшие крысы, жирные и бесстрашные, выскакивали из щелей, их маленькие красные глазки светились в темноте, как угольки. Они не боялись нас — наоборот, воспринимали как равных участников этого жестокого спектакля. Крысы грызли всё: одежду, кожу, остатки пищи, которые нам удавалось спрятать. Они вытягивали последние капли тепла и надежды, разносили болезни, превращая жизнь в бесконечный кошмар. Вши впивались в голову и тело, высасывали остатки крови и разносили тифозную эпидемию.

Каждый день здесь был борьбой — за кусок хлеба, за место у печки, за право на один лишний час сна. В этом аду нам оставалось только одно - выживать. В приюте, где мы оказались, царили свои, жестокие законы: сильные всегда подавляли слабых, а те, кто не мог справиться с неуправляемым хаосом, быстро истощались и исчезали, будто их никогда не было. И никто не нес ответственности за чужие судьбы — здесь каждый был сам за себя.

Помню, как мы с Андреем впервые зашли в «девичью комнату», где жила Дуся. Воздух там был пропитан запахом старой одежды и затхлости. Наша сестра с усталым взглядом, бережно прочищала гребнем спутанные волосы девочек, вычёсывая насекомых, которые гнездились в прядях. Она аккуратно вытирала воротнички платьев, пытаясь вернуть одежде хоть немного чистоты. Но через день насекомая мразь снова кишела в швах одежды, волосах на голове и под мышками. Грязь, казалось, была неотъемлемой частью этого места — она просачивалась повсюду: цеплялась за волосы, пряталась в складках, оседала на коже невидимой пылью.

Дни сливались в одно монотонное полотно: холодные коридоры, сырость, бесконечные правила, которые никто не соблюдал, драки и смерть. Казалось мы пережили там целую вечность, дожидаясь весны, как спасения, а не прошло и месяца. Приют стал для нас очередным и, пожалуй, самым ужасным испытанием. Мы каждый день, каждый час проходили проверку на прочность — кто сломается первым, а кто сумеет выстоять. Через некоторое время пребывания в этом страшном месте мы стали ясно понимать, что долго протянуть здесь не сможем.

Пообщавшись с беспризорниками-рецидивистами, у нас родился план. По примеру других ребят мы решили бежать — вернуться домой, в родное село, к маме, в тёплый дом, где нас ждали. «Хори» — это слово звучало для нас как молитва, как спасение. Мы повторяли его про себя, словно оно могло согреть и накормить.

Нас, приютских, изредка выводили на прогулки. Каждый такой выход был одновременно и испытанием, и шансом. Мы смотрели на мир за пределами приюта с жадностью, нам уже нечего было терять. Хотелось только одного - вырваться из этого замкнутого круга и вернуться к нормальной жизни, где детство не пахнет сыростью и отчаянием, а будущее не кажется бесконечной чередой серых голодных дней.

Андрей стал душой нашего заговора. Он продумывал каждый шаг, взвешивал риски, разрабатывал план побега. И в день, когда в очередной раз нас вывели из приюта в Ершов — на прогулку или экскурсию, мы решили исполнить план побега. Тот день навсегда остался в памяти как день нашего бегства — отчаянного, безрассудного, но единственно возможного. Мы ушли, оставив позади серые стены приюта, монотонный звон столовых ложек и взгляды, полные безысходности и ненависти. Вместе со всеми мы шли по улице Новоузенской, внимательно запоминая дорогу, повороты, заборы. Это был наш первый шаг к свободе — шаг, который мог изменить всё. И мы сбежали, не тратя ни минуты на раздумья.

Сначала мы отстали от основной группы — просто свернули на боковую тропинку, надеясь, что нас не заметят. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, готово было выпрыгнуть из груди. Мы двигались почти на ощупь, ориентируясь лишь на интуицию и шепот ветра. Впереди маячил старый вагончик, стоящий на ржавых рельсах неподалёку. Он выглядел заброшенным, но для нас стал спасением. Здесь можно было спрятаться и переждать, перевести дух.

Внутри вагончика пахло пылью и старой древесиной. Сквозь щели в стенах пробивались лучи закатного солнца, рисуя на полу причудливые узоры. Мы сидели, прижавшись друг к другу, и слушали, как затихают вдали голоса группы приютских. Казалось, сама судьба давала нам шанс на свободу.

Когда толпа детдомовцев скрылась вдали на соседней улице, мы решили выбраться и идти дальше, но для начала нам надо было согреться. Путь лежал через пригород, где жил наш дядя по материнской линии, родной брат мамы — суровый человек по имени Иван Макарович. Мы надеялись на помощь, на тёплый приём, но реальность оказалась жестокой. Дядя встретил нас с холодом в глазах, будто мы были не родственниками, а чужаками, осмелившимися нарушить его покой.

— Что вы здесь делаете? — его голос резанул по нервам, как острый нож.

Андрей, как организатор побега, оказался в центре внимания — дядя буквально зажал его между ног, словно пытаясь сломить волю одним лишь взглядом. А затем последовал удар — сильный, беспощадный. Жёсткий ремень свистел в воздухе, оставляя на коже Андрея багровые полосы, чёрные кровные потёки на теле. Бил дядя его как палач — до хрипа, до пены во рту. А боль была не только физической — она проникала в душу и лилась горячими слезами.

Тётя Поля, жена Ивана Макаровича, стала нашим единственным защитником в этом враждебном доме. Она бросилась между нами и разъярённым дядей, словно птица, защищающая птенцов. Её голос дрожал, но был твёрд:

— Хватит! Они же родные...

Дядя на секунду остановился, замерев с поднятой рукой, и эта заминка стала нашим единственным шансом. Надо бежать, ясно было, что здесь нам не помогут. Собрав остатки сил, мы все втроём выскочили из дома и бросились во двор, перемахнули через покосившийся забор и устремились к железнодорожным путям, оглядываясь — нет ли погони.

Степь встретила нас холодным ветром и безмолвием. Мы бежали, не разбирая дороги, озираясь по сторонам — не преследует ли кто? Сердце сжималось от страха: а вдруг нас уже ищут, а вдруг каждый куст таит опасность? Но с каждым шагом чувство свободы становилось

всё сильнее. Мы были живы. Мы были на пути к Моховому. И ничто не могло остановить нас теперь.

С наступлением темноты мы оказались дома. В нашей землянке, где мы недавно ютились, время будто остановилось. Холодный воздух пробирался сквозь щели, а тусклый свет едва освещал наши усталые лица. Никого не было. Мы зашли домой и ждали — каждый по-своему, но все одинаково отчаянно. Ждали, как нас встретят, что скажет мать, принесёт ли этот день облегчение или ещё больше испытаний. Мы грелись на русской печке, накрытые сверху травяным камышовым «чаканным» одеялом: подстилка – чакан, одеяло – чакан, и в головах тоже – чакан.

Тут открылась дверь и вошла мама. Она увидела нас и то, в каком мы состоянии... Её сердце обливалось кровью при виде нас — её детей, сжавшихся от холода и страха. Она обнимала нас, прижимая к себе, целовала и шептала:

«Милые мои, теперь я вас никуда уже не отпущу, будем вместе умирать».

И слёзы ручьём бежали по её щекам. В её голосе звучала такая боль, что у меня комок подступил к горлу. Эти слова были одновременно и обещанием, и признанием её бессилия перед лицом судьбы.

Она накормила нас, тем что насобираала по миру по крупичкам. Постелила нам самотканое одеяло, ещё сохранившее тепло, переодела, а казенное рубище выбросила в холодный сарайчик Мороз безжалостно впивался в стены землянки, но мы держались — друг за друга, за остатки тепла, за мамины руки, которые будто были нашим единственным якорем.

Вскоре в нашу тихую гавань ворвались тяжёлые шаги — это пришли тётки Тяпкины и Уламоновы. Они вошли, как чужая стихия, не спрашивая разрешения, не считаясь с нашими чувствами. Их голоса, резкие и непреклонные, стали бранить нас, мать, они беспощадно разрезали воздух:

— Так нельзя! Гони их обратно в приют! Что ты будешь с ними делать? Чем кормить? Как зимовать?

Они смотрели на нас свысока, будто мы были не людьми, а каким-то недоразумением, которое нужно исправить. Их поучения резали хуже ножа, а взгляды прожигали насквозь. Мама сжималась под их напором, но не отступала. В её глазах читалась тихая, но непреклонная решимость: она не отдаст нас, не позволит сломать то хрупкое счастье, которое мы снова обрели в этой землянке встретившись.

Мы сидели молча, прижавшись друг к другу, и смотрели, как разворачивается эта сцена. Сердце сжималось от страха и бессилия, но в то же время в груди разгорался огонёк упрямства. Мы не знали, что ждёт нас впереди, но одно было ясно: мама нас не предаст. В тот мрачный вечер она сидела у окна, сжимая в руках лоскутное одеяло, словно оно было её последним оплотом. Её взгляд был твёрд, но в глазах читалась невысказанная боль. Она смотрела на нас — своих детей, сжавшихся в углу комнаты, и её сердце разрывалось от бессилия.

— Куда я их из рук отпущу? — произнесла она решительно, будто бросая вызов самой судьбе. — Больше отдавать не буду. Лучше вместе с ними помру, но оставлю их при себе. Оставьте нас в покое!

Её голос звучал как клятва, как обещание защитить нас любой ценой. Эти слова повисли в воздухе, тяжёлые, как свинцовые тучи, нависшие над нашим домом. Мы сидели молча, впитывая каждую интонацию, каждый слог, чувствуя, как в маминых словах сплетаются отчаяние и невероятная сила.

Когда тётушки ушли, мама посмотрела на избитого Андрея. Её глаза, полные боли, смотрели на его рубцы и следы кровавых побоев, и она прошептала:

— Кто же тебя так избил?

А Андрей, не скрывая слёз, ответил:

— В приюте...

Андрей, чтобы не причинить маме ещё больше боли, не решился ей рассказать, что извергом, который сотворил это с ним, был её родной брат, Иван Макарович. Уважаемый работник железной дороги и церковный служитель...

## Глава 15

### Снова в нищете и холоде.

#### Поповская милость

Зима 1923 года выдалась на редкость лютой и холодной. Мама ходила по морозу в другие сёла просить милостыню, чтобы через неделю или две принести нам в мешочке кусочки-сухарики.

— Вот, дети... Кушайте, что Бог послал...

Её голос дрогнул, и на мгновение время будто остановилось. Мы замерли, чувствуя, как боль прошлого сжимает её сердце. Но мама быстро взяла себя в руки. Она подошла к столу, где лежал мешочек с сухарями, и аккуратно пересчитала их, разделив на несколько дней.

Я через день ходил в один из двух дворов — то к дяде Савелию, то к попу Ключкову за милостыней. Они давали кусочки сухарей, и я делил их на троих. Мы знали цену этим сухарям. Знали, сколько сил, сколько унижений стоило маме и мне каждое крошево хлеба. Знали, что за этим «хожу через день» скрываются километры пути по заснеженным дорогам, холодные руки, дрожащие от усталости, и глаза, полные мольбы.

В памяти до сих пор живёт один случай. В один из дней в двадцатых числах января 1923-го года поп Ключок неожиданно дал мне буханку хлеба. Целую. Одну-единственную, но такую огромную в моих детских глазах, что сердце замирало от восторга. Я до сих пор слышу хруст свежего деревенского хлеба под пальцами, чувствую его тёплый аромат, смешанный с запахом печной золы. Помню, как он казался мне вместилищем целого мира — мира, где нет голода, где каждая крошка со стола вкусна. Я бежал с ним, прижимая буханку к груди, будто драгоценность. Бежал так быстро, что ноги едва касались земли, а ветер свистел в ушах. Падая, поднимался, снова бежал — и ничто не могло остановить этот вихрь радости и страха потерять сокровище. Я оглядывался, мне казалось поп бежит за мной и сейчас отберёт свой подарок... Но нет, никого не было, только ветер подгонял меня в спину и мела позёмка.

Дома меня встретила мама. Увидев хлеб в моих руках, её глаза, обычно такие тёплые, сейчас стали полны тревоги. Она озиралась, будто ожидая, что из-за угла выскочит тень и отберёт наше недолгое счастье. Её губы беззвучно шептали молитвы, а пальцы нервно сжимались, будто пытаясь удержать ускользающее счастье.

— Буханка хлеба... — выдохнул я наконец.

Мы сели за стол — наш старый, сколоченный из досок стол, который видел столько голодных вечеров, что, казалось, сам стал частью нашей боли. Мама аккуратно взяла нож, словно это был ритуальный клинок, и сделала первый надрез. И тогда реальность ударила нас, как пощёчина.

Хлеб внутри был испорчен. Совершенно непригоден для еды. Чёрные пятна плесени расплзались по мякишу, как чума по обречённому городу. Аромат свежести сменился кислым запахом гниения. Наши руки, уже готовые разделить сокровище, замерли в воздухе. Мечты рассыпались, как песочный замок под натиском волны.

Этот хлеб «даровал» нам поп Ключок — человек, который считал себя вправе распоряжаться чужими судьбами. Он «одаривал» нас тем, что сам не соизволил использовать. Тем, что даже скотине было бы стыдно давать. А сам... Сам он держал шесть коров, сытых и упитанных, кормил их за счёт щедрой, бездонной веры прихожан, которые отдавали последние крохи, последние кусочки своего сердца «пастырю», надеясь на небесное вознаграждение.

Казалось, за такой поступок попа должна была ждать кара небесная. Небеса должны были разверзнуться и наказать его. Но... небеса молчали. А голод кричал. И эта буханка стала олицетворением всего нашего существования: крупички надежды, обернувшиеся горьким разоча-

рованием; доброта, превратившаяся в насмешку; и бесконечная, почти безнадежная борьба за право просто быть сытым.

Я с отвращением, с презрением вспоминаю ту выходку попа и то время — время, когда человеческое достоинство было растоптано, а милосердие превратилось в насмешку. Акт попа Клочка и подобных ему паразитов на человеческом теле, казался мне тогда не просто жестоким, а глубоко оскорбительным, словно удар под дых. Они называли это «помощью», но на деле лишь подчёркивали нашу беспомощность, превращая милостыню в унижительный ритуал.

И всё же... И в этот раз, как и всегда, мы не сдавались. Даже в этом испорченном хлебе мы нашли частичку жизни — жизни, которая упорно цеплялась за каждый шанс, за каждую крошку. Мы выскребли плесневелую сердцевину, а корочки выпарили на воде и съели. И пусть к нам отнеслись хуже, чем к поповской скотине, но когда хочешь есть, уже не до гордости.

\*\*\*\*\*

В ту зиму мы «бобывали» — выживали, цепляясь за каждую крошку жизни, как птицы за ветку в бурю. Нас называли «паразитами» на здоровом теле села, но разве мы были паразитами? Мы были теми, кто боролся за право дышать, есть, жить. Клочок и его приспешники смотрели на нас свысока, будто мы были грязью под их ногами. Видимо, своим поступком с буханкой он решил раз и навсегда отвадить меня из своего дома. Но мы держались — изо всех сил, с отчаянием обречённых.

В ту жестокую зиму нашим «промыслом» стала охота на птиц: грачей, голубей, чернышей — жалкая попытка добыть хоть что-то съедобное. Мы делали петли из конского волоса, тонкие, как паутина, и прибавляли их к деревянным кольшкам. Это были «силки» и «пленки» — ловушки, которые мы ставили на бугорках, надеясь поймать хоть какую-то дичь. Бугорки рано сбрасывали снежный покров и стайки птиц копошились в земле, разрывая промёрзшую почву тонкими лапками в поисках пищи. Там они и попадались в наши силки. Эти силки, сплетённые из пеньки и конского волоса, становились нашей единственной надеждой. Мы проверяли их каждый день, дрожащими руками развязывали петли, надеясь найти там добычу. Иногда нам везло — мы вытаскивали замёрзшую птицу или мелкого зверька. Но чаще — только пустота, только холод, только отчаяние. Мы ловили птиц, ощипывали, варили — и это считалось удачей.

На мусорках, свалках, где выбрасывали отходы, — мы искали остатки еды, перебирая мусор руками, покрытыми корками грязи. Это называлось «сласть» — унижительное слово для того, что было нашей реальностью. Мы рылись в снегу, в грязи, в отбросах, чтобы найти кусок хлеба, картофелину, любую крошку, которая могла бы утолить голод.

Мы собирали снежный помёт — замёрзшие остатки корма, которые коровы оставляли на снегу. Червивые, покрытые инеем, они становились нашим «блюдом» в долгие зимние дни. Мы топили их в кипятке, процеживали через тряпку, чтобы избавиться от самых крупных червей, и ели, подавляя тошноту. Это было лучше, чем ничего.

Когда наступала оттепель, мы выкапывали из земли замёрзшие клубни, корни, любые растительные остатки. Земля, ещё не полностью оттаявшая, отдавала нам свои сокровища — гнилые овощи, промёрзшие до окаменелости. Мы грызли их, как голодные звери, чувствуя, как зубы ломаются от холода и твёрдости.

В пасхальные дни 1923 года мы «разговлялись» — но не куличами и яйцами, а лапшой с грачами. Да-да, с настоящими грачами, которых мы всё-таки изловили и которые варились в мутной похлёбке. Мы ели это, потому что это было мясо, потому что это давало нам силы ещё на один день, ещё на одну попытку выжить.

Эти воспоминания — как рубцы на душе. Они не уходят, не стираются временем. Они напоминают мне о том, что человек может выдержать всё, пока у него есть воля к жизни. И пока есть те, кто готов разделить с тобой этот кошмар, превращая его в борьбу — жестокую, но не теряющую смысла.

Предпасхальная неделя окутала дом тихим, почти молитвенным спокойствием. Мы «говели» — соблюдали старинный обычай, наполняя дни сдержанностью и ожиданием чуда. Проверив силки, мы с радостью обнаружили несколько попавшихся птичек — грачей и голубей. Это было настоящее предпасхальное волшебство, подарок высших сил к празднику. Соблюдая традиции, мы не стали их есть сразу, а решили сохранить до Пасхи. Порезали крылышки и стали немного подкармливать крошками. Содержали мы пойманных птиц под койкой, как обычно в сёлах сейчас содержат в раннюю весеннюю пору бройлерных цыплят.

Мы держали пленников, уготованных нам на съедение, выхолощенных в раннем весеннем тепле. Эти маленькие существа казались воплощением самой жизни, её неукротимого стремления к существованию. И они должны были стать нашим пропитанием, нашим способом выжить.

В субботу наступила пора обрядов: «птица» была тщательно обработана, подготовлена к празднику. Во второй половине дня кухня наполнилась ароматом варёной лапши — простым, но таким родным запахом домашнего уюта. Ранним утром на Пасху, когда первые лучи солнца робко заглянули в окна, нас наведала сестра наша, жившая тогда уже отдельно. Мария Лукьяновна шла со заутренней службы из церкви. Её фигура, окутанная ореолом добра, казалась посланницей другого мира. Она принесла с собой не только запах ладана, но и что-то светлое, праздничное.

Мария с мужем жила в «Суслах», и её редкое присутствие в нашей землянке всегда наполняло дом особой теплотой. Полтора года она делилась с нами последними крохами, храня в сердце доброту, которую не смогли истребить тяжёлые времена.

- А какой у вас роскошный, богатый стол к Пасхе!

Восхитилась Мария, глядя на нашу лапшу с грачами. Хотя это она же сама и передала нам эту самую лапшу в мешочке с доверенным лицом втайне от мужа к великому празднику - Пасхе. Ну а «дичь» — жаренные голуби и грачи — это уже было делом наших рук. Эти маленькие птички, добытые нами, становились не только едой, но результатом «смекалки». Простые ловушки доказывали нашу изобретательность и стойкость духа.

Эти дни, наполненные простыми радостями и тяжёлыми испытаниями, навсегда остались в памяти моей. Это было время, когда в самой скудной обстановке мы находили свет и теплоту друг в друге.

На второй или третий день Пасхи дом наполнился знакомым шорохом — это мама вернулась из своего бесконечного странствия. Она появилась на пороге, словно призрак из прошлого: худая, бледная, многострадальная, с потрёпанной котомкой за плечами. Её фигура, окутанная пылью дорог, казалась воплощением всех тягот и лишений, что выпали на долю нашей семьи.

В руках она держала нищенскую сумку, в которой покоились жалкие дары: крашеные яички, куличи, собранные по сёлам с трудом и мольбой. Эти угощения в её руках выглядели особенно трогательно — как последняя нить, связывающая нас с радостью жизни.

Этот поход по сёлам стал её последним странствием. Мама, словно странница, обходила дома, прося крохи еды, рассказывая о наших бедах, надеясь на чудо. Но чудо не приходило — только усталость всё сильнее сжимала её плечи, а глаза теряли тот живой блеск, который я так любил.

\*\*\*\*\*

На фото, которое я постоянно рассматриваю - моя милая мама, Александра Макаровна. Это фото сделано на станции Ершов в день, когда ей исполнилось 90 лет. Она прожила долгую жизнь и скончалась в возрасте более 90 лет. Мама была настоящим долгожителем — её хорошо знали во всей округе, уважали за мудрость, доброту и стойкость.

Мама родилась в простой крестьянской семье, прошла через многие испытания: годы неурожая, трудности коллективизации, тяготы военного времени. Но она никогда не жаловалась, всегда находила силы работать, заботиться о близких, поддерживать соседей.

Мама ушла из жизни тихо, в окружении родных, в сентябре 1961 года. Похоронена она в Ершове — там, где провела последние годы жизни. В день прощания в селе объявили траур: закрыли школу на один день, приостановили работы. Люди шли проститься с ней. Они клали на могилу цветы, кланялись, у многих на глазах застыли слёзы.



**Александра Макаровна Рожкова, г. Ершов, 1960 г.**

\*\*\*\*\*

В те дни мы с Андреем приняли на себя новую роль — стали подпасками у пастуха. Его звали Макар, татарин по нации. Это был человек необычной судьбы: суровый на вид, но с сердцем, полным доброты. Его честность, скромность и сердобольность стали нашим очередным спасением в тяжёлые времена, которые никак не кончались.

Условия работы пастушьими подпасками оказались на удивление выгодными: нам платили по 10 копеек в день и обеспечивали подворным питанием. Владельцы коровы, наши работодатели, обязались кормить пастуха с подпасками три раза в день. Утром и в обед мы получали сухопродукты, простую, но сытную еду, дающую силы для работы. А вечером, когда хозяйка доила корову, нам варили щи или суп. Эти простые блюда стали для нас праздником, а сам пастуший быт — школой жизни.

В те тихие, будто застывшие в вечности моменты наша жизнь текла размеренно, словно неторопливый поток горной реки. Мы с Макаром приводили коров и коротали время, сидя на старой завалинке или скамейке, ожидая приглашения к столу. Когда нас приглашали за стол, простая трапеза превращалась в маленький праздник: горячие щи, рассыпчатая каша с парным молоком... Эти блюда, такие обычные, были, конечно, для нас, не привыкших к нормальной еде, верхом блаженства.

Шло время, настало лето и пошли наши с Андреем пастушьи дела в гору, только тяжело было каждое утро вставать засветло, прерывать сладкий сон. Мама растолкает, развеселит перспективой «остаться на обед на стойле у пруда», поможет умыться, взбодриться и с традиционным русским «идите с Богом» проводит на весь летний знойный день на работу.

К тому времени брат наш, Алексей, завершал своё кустарное ученичество у старого сапожника. Вернувшись домой, он не просто принёс с собой новые навыки — он с усердием и любовью смастерил собственный верстак, превратив одну комнату в мастерскую. Теперь Алексей мог сам зарабатывать. Он старался не просто чинить обувь — а работать, вкладывая в каждую пару сапог частичку своей души. Ремонт и пошив стали не просто ремеслом, а способом заработка, который приносил удовлетворение и гордость.

Так текла наша жизнь — простая, но наполненная смыслом, маленькими радостями и трудом, который делал каждый день особенным. Наконец-то потихоньку-полегоньку наша семья начинала подниматься с колен, выбираться с самого дна нищеты.

## Глава 16

### Начало «хлеба нашего насущного»

Наша жизнь ежедневно начиналась со слов молитвы к которым нас приучила мама. Мы повторяли знакомые с детства строки: «...хлеб наш насущный даждь нам днесь... Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Эти слова задавали тон всему дню, становились незримым оберегом в круговороте труда и забот. С этих слов, с обращения к Всевышнему, начинала каждый свой нелёгкий трудовой день наша мать и мы вместе с ней.

1924 год стал для нашей семьи переломным. Мы перестали просто выживать — мы начали строить свою жизнь на собственных трудах. «Хлебы насущные», заработанные честным трудом, стали основой нашего существования. Мы не просто питались — мы создавали будущее, шаг за шагом выстраивая домашнее хозяйство.

Во дворе появилась наша любимица — маленькая тёлочка. Её появление стало настоящим праздником: хрупкое существо, полное жизни, символизировало надежду и обновление. Мы ухаживали за ней с особой тщательностью — натаскали мешки с кормом, вязали пучки сочной травы, следили, чтобы у неё всегда было достаточно еды. Хотя «Нежданка», так мы называли тёлочку, и без того была сыта. Мы с Андреем деловито подсчитывали дни до приплода, вычисляли количество молока, которое потребляли в день наши желудки.

Имя это у тёлочки возникло не само собой — оно было отражением её неожиданного появления в нашей жизни. Почему «Нежданка»? Её «пришествие» казалось маленьким чудом. Она была живая, тёплая, настоящая, наша, после стольких испытаний, которые мы прошли. А появилась она так:

В год отъезда «на прокормление» в Пензу один новослободский состоятельный мужик по имени Фёдор Сеницын, пользуясь тяжёлым положением нашей семьи, за бесценок забрал часть нашего хозяйства. В его владение ушли постройки, деревянный забор, добротный сарай и ещё немало вещей, которые были для нас не просто имуществом, а частью жизни, накопленной годами труда.

А теперь в свет в защиту бедноты вышел Закон Советского государства, обязывающий возместить убытки бедных семей. Это было словно луч света в тёмной ночи — закон встал на нашу сторону, вернул частичку справедливости.

Федор Сеницын неожиданно проявил доброту: на добровольных началах привёл нам тёлочку. Это стало настоящим чудом, подарком судьбы. Мы так и назвали её «Нежданка» — ведь её появление было неожиданным-негаданным.

Кроме того, на ссуду от государства мы смогли приобрести маленькую, старенькую, но ещё крепкую лошадку. Во дворе появился рабочий скот. Он сразу оживил наш двор, наполнил его шумом и движением.

Весной 1925 года мы вновь, спустя почти десять лет, засеяли самостоятельно первые десятины хлеба. В это непростое время Алексей не терял времени даром — он продолжал своё сапожное ремесло. Его руки, закалённые трудом, ловко справлялись с кожей и нитками, превращая куски материала в добротную обувь. Кроме того, летом он трудился в ТОЗе (Товариществе по обработке земли), вкладывая силы в общее дело, зарабатывая на жизнь и поддерживая семью. Он работал плугарём трактора «Фордзона», затем стал помощником тракториста.

В те непростые годы наш край переживал эпоху великих перемен. ТОЗы — одни из первых кооперативов, что стали прорастать на нашей земле, как основа земледелия, колхозного строя, как молодые ростки после весеннего дождя. За Алексеем в стройные ряды ТОЗа встали братья Денисовы, Николай и Алексей, Мишин Иван, Васька Кошелев, Кудашев Иван, Гундоров Пётр. Они стали не просто участниками, а творцами новой реальности.

Именно в стенах ТОЗа появились первый трактор и сеялка — символы механизации, прогресса и победы индустрии. Мы сеяли, пахали, строили будущее своими руками, преодолевая трудности и сомнения. Механизация, демонтаж старых устоев и рождение новых традиций стали нашим ежедневным хлебом.

Первыми трактористами были двое парней — Ванька Четурнов и Савелий Тяпкин. Их жизнь была полна контрастов: с одной стороны — пьянки и драки, в которых они, не стесняясь, рвали на груди рубашки и громко ругались. С другой — невероятная гордость за свою профессию. «Не подходи, я тракторист!» — эти слова звучали как боевой клич, как утверждение новой идентичности, как гимн труду.

Постепенно село начинало вставать на ноги. Земля, истощённая годами невзгод, вновь наполнялась жизнью и надеждой. Каждый вспаханный клочок земли, каждое посеянное зёрнышко становились кирпичиками в фундаменте нашего общего будущего. Мы строили не просто хозяйство — мы создавали новую эпоху, где труд становился источником гордости, а коллективная сила — залогом процветания.

В те годы жизнь неумолимо переходила от старого к новому — словно река, меняющая русло. Традиции отступали, уступая место переменам: мужала новая реальность, исчезала прежняя «нищета» — уклад, к которому мы привыкли. Мы сбрасывали с себя рубище прошлого, одеваясь в ситцевые рубашки, в фабричные ткани, которые приносил ветер перемен.

Алексей стал, кроме обуви, шить шапки-ушанки. Он сделал деревянную модель головы, она состояла из четырёх секций, и её можно было собрать каждый раз по-разному. Эта модель позволяла изменять размер шапки, подстраивая её под любую голову, под любой вкус. В руках нашего брата простая вещь превращалась в инструмент творчества, где каждая деталь имела значение.

Иван решил пошить шапки нам, своим братьям. Он сказал:

— Шапки я вам пошью, а вот мех добывайте сами, кто как сможет.

Я помню, как изловил большого жёлтого кота — он-то и стал сырьём, из которого Иван сделал мне шапку. Уж очень мне её хотелось. Я сам проделал каждую операцию по выделке меха, как бы ни тяжело это было в первый раз, да ещё и с убитым мною котом. В итоге на моей голове красовалась шапка-ушанка — простая, но тёплая шапка, почти не отличавшаяся от изделий из дорогого меха лисицы.

Вечерами Алексей делился своим сапожным мастерством с нами. Вместе с Андреем зимними вечерами мы усаживались за его верстак, где учились сапожному ремеслу. Он показывал, как сваливать, повернуть кружало из кожи, как выправить заготовку варом — особым составом, придающим прочность. Потом — как драть кожу, делая её податливой, но твёрдой, как использовать каждую деталь, чтобы изделие получилось красивым и долговечным. Затем мы долго и упорно учились прибивать деревянные гвозди, которыми крепили подошвы, подбивали подмётки, пробивали отверстия в валенках. Это было наше крещение в мире кожи и ниток, где каждый стежок требовал точности, а каждый крохотный гвоздик — силы и ловкости.

Но время не стоит на месте. По мере того как наши руки набирались опыта, мы стали выполнять работу посложнее. Прилаживали заплаты — словно зашивали раны на теле обуви, возвращая ей жизнь, — подшивали валенки, чтобы зимой ноги не знали холода.

\*\*\*\*\*

Однажды в нашу мастерскую пришёл Васька Китай — так по-уличному звали Березуцкого Василия. Имя его было для нас легендой, так как он стоял у истоков нашего села. Ведь именно он, ещё будучи пастухом, дал название Кобелёвке. С тех пор Китай разительно изменился, заматерел. Взгляд Васьки был твёрд, как зимний мороз, и мы его побаивались. Он принёс детские валенки — маленькие, потрёпанные, но всё ещё имеющие потенциал к ремонту и дальнейшей носке.

«Отремонтируйте», — сказал Васька коротко.

Алексей, наш наставник, доверил мне этот заказ. Сердце забилось быстрее — это была не просто работа, а испытание. И я решил показать всё своё мастерство. Я работал с одержимостью. Пальцы скользили по коже, игла пела свою песню, а нитки становились волшебными нитями. Я представлял, как маленький сын Василия Китая будет бегать по заснеженным улицам в этих валенках, не чувствуя холода. Как улыбка осветит лицо отца, когда он увидит, как надёжно держится заплатка, как ровно лежит подошва. Я справился с поручением, так мне казалось. Васька получил заказ — валенки с ремонта для своего сынишки. Но через два-три дня снова промелькнула мимо нашего низенького оконца физиономия Китая. Я почувствовал недоброе и шмыгнул под кровать.

Дверь скрипнула, и в комнату вошёл Березуцкий. Его шаги были тяжёлыми, уверенными. Он остановился посреди комнаты, прищурился, осмотрелся вокруг, словно хищник, выслеживающий добычу. Затем направился к верстаку, наклонился, внимательно изучая каждую деталь.

— А где же Петька? — голос Китая разрезал тишину, как острый нож.

Я замер, затаив дыхание. Вопрос повис в воздухе, тяжёлый и угрожающий.

— Что такое? — голос Алексея был ровным, почти безразличным, но в нём сквозила скрытая тревога. — Что не так?

Китай медленно повернулся к нему, его взгляд был ледяным.

— Да очень уж хорошо подшил он валенки, — произнёс он, и в его тоне проскользнула ирония. — Мой Колька целых два дня бегал в них, а на третий... — он сделал паузу, и эта пауза была тяжелее любых слов. — ...а на третий я пришёл, чтобы «добавить» Петьке за работу.

Алексей побледнел. Он понимал, что речь идёт далеко не о похвале.

— Вижу, что нет Петьки. Ну ладно, — Китай пожал плечами, и в этом жесте была скрытая угроза. — Завтра зайду и «добавлю» ему.

Комната наполнилась тяжёлой, давящей тишиной. Я лежал под кроватью и чувствовал, как пот стекает по спине, как дрожат руки. Так и прятался я, неудачный сапожник, застигнутый врасплох.

«Ну, влип я с первого шага. Китай добавит, а Алексей ещё «подбавит»», — пронеслось в голове.

Тишина давила, словно свинцовый груз. Тут скрипнула дверь, щёлкнула тяжёлая задвижка. Слышно было удаляющиеся шаги Китая, который зашагал восвояси.

— Выбирайся из-под кровати, дурак! — голос Алексея резанул как хлыст. — Спрятался, а голые пятки из рваных чулок не втянул подальше - всё равно выдали!

Я замер, прижавшись к шершавой стенке кровати. Сердце колотилось так, будто хотело выпрыгнуть из груди. Виднелись его сапоги — грубые, изношенные, но крепкие, как характер брата.

— Видел тебя, Китай, — продолжил он, медленно приближаясь. — Шпандырем хотел огреть по ногам, да видно, пожалел.

Он остановился в шаге от меня, наклонился, и я почувствовал запах старой кожи — запах человека, который много времени провёл в мастерской. Его глаза, холодные и пронизательные, впились в меня, будто пытались прочесть мысли.

— Не выйдет из тебя мастеровой, — произнёс он наконец, выпрямляясь. — Все теперь будут болтать... Твоя работа опозорила нас на всё село, теперь слух пойдёт, что это моя работа. Люди заказы больше не принесут...

Я слотнул ком в горле, но не нашёл слов для ответа. Это была правда — мои попытки освоить ремесло потерпели фиаско, несмотря на все старания.

— Учись уж лучше да прилежнее в школе. — голос брата стал тише. — Там от тебя больше пользы будет.

## Глава 17

### Школа, первая учительница

Я хорошо помню ту первую зиму в школе, когда мне было всего одиннадцать. Тогда всё казалось возможным, а будущее — светлым. Снаружи доносились звуки деревенской жизни: лай собак, крики детей, скрип телеги. Жизнь шла своим чередом, не обращая внимания на мои терзания. Школа располагалась в простой квартире наших соседей — Ивановых. Нас, ребятшек и подростков, было немного.

Василий Пронин, Сашка Максимова, Майкова Таня, Аня Савкина-Рожкова (это наша родственная однофамильная ветвь), Сергей Евдокимов и Александр Душкин, других уж и не упомяну.

К тому времени, как пишутся эти строки, из всех них, тогдашних ребятшек, в живых остались только Душкин, да Нюра Савкина. Особенно рано, в 30-е годы, из жизни ушёл мой одноклассник Васька Пронин. А вот отец его, Данила, на редкость и удивление доживал сотню лет. Он был главным долгожителем нашего села. Вот так Бог дал, судьба распорядилась жизнями отца и сына.

\*\*\*\*\*

Первой и единственной учительницей нашей стала Беседина Анна Михайловна, уважаемая всем селом. В памяти моей, словно запечатлённый пером искусного художника, живёт образ Анны Михайловны — женщины, чья судьба была одновременно проста и трагична. Её лицо, часто спокойное, но с тенью неизбывной усталости, навсегда осталось в моей памяти. Если бы я владел кистью мастера, я бы с трепетом воссоздал её портрет для семейного альбома — не ради славы, а чтобы сохранить для потомков частичку той эпохи, той жизни, что уже никогда не вернётся.

Родом была Анна Михайловна из Ершова. Каждые выходные она ходила туда, к семье, к мужу, два десятка километров пешком, а потом рано утром, в понедельник, возвращалась обратно. Спозаранку она готовила классную доску, писала тексты задач или задания по грамматике. Встречала нас учительница всегда бодрая, по-матерински заботливая... Её сила заключалась не в громких словах, а в повседневных подвигах: в знаниях, которые она несла детям.

Анна Михайловна была из тех женщин, чьё благородство сквозило в каждой черте. Смуглое лицо, длинная чёрная коса, аккуратно заплетённая, спадала на спину. Голубые глаза с поволокой смотрели пронизательно — в них читались и мудрость, и скрытая печаль. Эти глаза видели многое: и радостные мгновения, и тяжёлые дни, когда жизнь испытывала её на прочность. Увы, но часто под этими красивыми умными глазами мы замечали замазанные пудрой следы расправы мужа-пьяницы...

Её походка была уверенной, почти военной — без лишних жестов, без показной грации. Она двигалась так, будто каждый шаг был продуман, будто жизнь научила её экономии движений. Одежда её никогда не была роскошной, но всегда аккуратной, отутюженной, по моде того времени, она словно говорила: «Я не стремлюсь впечатлять, я просто живу свою жизнь».

Забегая вперёд расскажу, как встретил свою первую учительницу в Ершове в предвоенные годы на кустовом совещании сельских учителей. Как директор школы я первый подошёл к ней, напомнил о себе, Анна Михайловна меня сразу узнала:

- Я и тогда, в двадцатые, - сказала она, - видела вашу незаурядную будущность. Только не зазнавайтесь, учитесь и учите. А мы постарели, сделали своё дело, вручаем вам, молодым, ответственную эстафету воспитания последующих поколений.

Она повернулась и отошла без лишних слов и прощаний. Её фигура, стройная и прямая даже в преклонном возрасте, казалась символом негибкой воли. В тот момент я чётко

осознал, что передо мной не просто сельская женщина, а человек, несущий на своих плечах тяжесть целого мира.

Школу, учителя тогда свято чтили. Никакого сравнения с семидесятыми годами. Учителя – как луч света в тёмном царстве всеобщего невежества и безграмотности. Они были земными божествами – всезнающими, всеведающими, единственными проповедниками новых идей и науки.

Любили мы Анну Михайловну, подражали ей. Однако наши детские шалости принесли учительнице, единственной наставнице, немало огорчений и разочарования. Вольностью, непослушанием и умышленным несоблюдением режима и дисциплины на уроках и вне их отличалась наша «святая троица» – Пронин, Рожков и Максимов. Вспоминаю один показательный случай...

\*\*\*\*\*

В маленькой деревенской школе царила привычная суета. На уроке литературы дети по очереди читали рассказ про события девятого января 1905 года, «Кровавое воскресенье». Это было простое задание, но в тот день всё пошло не по плану.

Анна Михайловна, строгая, но справедливая учительница, внимательно следила за учениками. Когда очередь дошла до меня, я вдруг замер, сжав кулаки, не произнося ни звука.

— Петя, почему молчишь? — мягко спросила Анна Михайловна. — Ты должен прочитать свою часть рассказа. Идёт урок.

Я упрямо посмотрел на неё:

— Не буду читать. Это неправда!

Класс замер. Анна Михайловна чуть приподняла бровь — она привыкла к шалостям детей, но такой открытый отказ видела впервые.

— Что ты имеешь в виду, Петя? — её голос оставался спокойным, но в глазах читалась твёрдость. — Почему ты считаешь, что этот рассказ — неправда?

— Мама дома говорила, — я нахмурился, будто защищаясь, — что «Кровавое воскресенье» — это антихристова казнь!

В классе повисла тяжёлая тишина. Дети переглядывались, не понимая, что происходит. Анна Михайловна медленно закрыла тетрадь, положила её на стол и посмотрела на меня с непривычной мягкостью.

— Петя, — начала она осторожно, — история — это не всегда чёрное и белое. То, что кажется простым, на деле может быть очень сложным. «Кровавое воскресенье» — трагический эпизод в нашей истории. Но мы изучаем его не для того, чтобы осуждать или обвинять, а чтобы помнить и не повторять ошибок.

Я опустил голову, но всё ещё упрямылся:

— Но мама сказала...

— Я понимаю, — перебила Анна Михайловна. — Семья — это важно, и мнение родителей дорого. Но школа — это место, где вы учитесь думать самостоятельно, анализировать и делать выводы.

Она обошла стол, присела на корточки передо мной, чтобы наши глаза оказались на одном уровне:

— Ты имеешь право на своё мнение. Но прежде чем его отстаивать, узнай как можно больше. Прочитай, расспроси, подумай сам. Хорошо?

Я кивнул, всё ещё неуверенно. Анна Михайловна улыбнулась и махнула рукой:

— Ладно, сегодня ты можешь не читать. Но я хочу, чтобы ты вернулся к этому рассказу.

Подумай над ним дома. Договорились?

Я нехотя согласился. Анна Михайловна повернулась к классу:

— А теперь продолжим. Кто следующий?

После урока Анна Михайловна задержалась в школе. Она подошла к окну, задумчиво глядя на заснеженный двор. Затем решительно направилась к выходу — предстоял серьёзный разговор с нашей мамой. Она пришла к нам в семью и рассказала о моём недостойном поведении на уроке.

В тот день я получил «порку» — наказание, которое до сих пор отзывается в памяти стыдом и болью. Меня высекли полотенцем по чреслам. Когда Анна Михайловна ушла от нас, помню, как дрожа от страха я побежал к маме и с упрёком выпалил:

— Мама! Сама не велишь читать «антихристовы писания», а потом бьешь! Ругалась при учительнице!

Мама замолчала, лишь тяжело вздохнула в ответ — в её глазах читалась безысходность, будто этот круг не разорвать никогда.

\*\*\*\*\*

А в школе Анна Михайловна продолжала давать нашей отстающей тройке самые сложные задания. На уроках она словно испытывала нас на прочность: то на арифметике заставит решать примеры с обыкновенными дробями, хотя все только изучали целые числа, то спросит законы действий с дробными числами так, будто мы уже окончили университет, а не учились в начальной школе. Таким образом она пыталась приучить нас к дисциплине.

Но несмотря на строгость, Анна Михайловна видела в нас не просто учеников. Я был старостой класса — организовывал дежурства, следил, чтобы парты были чистыми, а мел не заканчивался. К праздникам мы готовили выступления, и учительница всегда помогала нам сочинять сценарии, подбирала песни и стихи.

В рамках общественной деятельности я вёл календарь природы и добавлял туда и заметки и свои наблюдения — например, записал, как в марте лёд на реке тронулся, что сосульки «слёзы лили». Эти школьные годы, с их строгостью и заботой, навсегда остались в моей памяти. Анна Михайловна учила нас не только предметам — она учила быть ответственными и целеустремлёнными. И хотя тогда многие правила казались мне несправедливыми, сейчас я понимаю: именно благодаря этим урокам я стал тем, кто я есть.

Из соседнего Ершова к нам, школьникам, часто навевались юные комсомольцы — искатели новых свершений, носители идей, они будто пронизывали воздух вокруг своей энергией. Комсомольские шефства стали своеобразным мостом, соединившим наше небольшое село с бурлящим жизнью районным центром. Это была не просто формальность — это было живое общение между поколениями, обмен мнениями и мечтами.

Особенно запомнился март. Наши шефы привезли с собой подарки — карандаши, тетради, изящные ручки с металлическим пером «Рондо». Они похвалили меня за весенний плакат, который мы оформили с классом, и за календарь природы, в котором я фиксировал каждое изменение в окружающем мире.

Прошли десятки лет, но тот период остаётся в моей памяти как самая яркая страница жизни — словно пылающий костёр среди снежной равнины. Школьная жизнь, встречи с первыми комсомольцами 20-х годов, экскурсии в Ершов, в кино, являвшееся для нас чудом техники и искусства... Эти воспоминания — как калейдоскоп, в котором переплетаются образы моих детских воспоминаний.

Я с гордостью вспоминаю своё начальное образование, отмеченное высокими оценками. Но потом я категорически отказался продолжать учёбу. Причины этого решения объяснить очень просто. Я был сыном крестьянина, по-крестьянски мыслил, на крестьянский путь становился.

Уже тогда я мечтал стать образцовым, состоятельным хозяином. Я мечтал о паре белых или гнедых коней, сбруе с бахромой да фаэтоне на железном ходу. Ведь хозяйство было не просто местом труда, оно было всем, что составляло нашу жизнь, наше мышление. Помню, как отец учил нас, пока был живой: «В хозяйстве каждая скотина — как член семьи. Следите за

каждой, берегите». И мы следили. Старались содержать нашу скотинку наилучшим образом, так что даже поводыря должны были блестеть, будто они кому-то расскажут историю нашего труда.

\*\*\*\*\*

Несмотря на все наши усилия, судьба оказалась к нам опять неблагоприятна. В нашем хозяйстве не раз случались неудачи. Выросла коровка, та самая Нежданка, что привёл мироед Сеницын. И наконец стало понятно, почему он нам её отдал. Она оказалась буро-белого окраса, крупная, с большими рогами, буйволообразная. Но беда — немолочная оказалась. Сколько ни старались, а молока давала мало.

То вроде лошадка наша решила принести жеребёнка. Мы обрадовались, все вместе размышляли о паре лошадей, обсуждали, как преобразится жизнь с их появлением. Но перед тем, как на свет должен был появиться долгожданный жеребчик, случилась беда: не выжила наша Чалушка. Так мы звали лошадку — добрую, надёжную, ставшую членом семьи. Вывезли их на скотское кладбище: и мамку, и её приплод. И всё... Остались мы безлошадными. Ревели, оплакивали беду, как покойника из близких людей. Потеря скотины тогда была не просто убытком. Это утрата части души, привычного уклада семьи. Беда не меньше, чем потеря родного человека.

Так складывалась наша жизнь — с радостями и горестями, с надеждами и утратами. Каждая страница этой истории была написана кровью, потом и слезами, но в ней же — вся сила и мудрость крестьянского труда. Именно эти испытания сделали меня крепче, закалили. Ведь земля помнит всё — и радость, и боль, и любовь, с которой мы трудились на ней.

## Часть вторая

### Отрочество и юность

#### Глава 18

#### Новая весна. Иванова свадьба

Весна в том году выдалась дружная — солнце пригревало, земля оттаивала, и соседи один за другим выезжали в поле, на сев.

— Ну что, парнишка, готов к настоящей работе? — подмигнул мне дядя Степан Уламонов, затягивая подпругу на гнедом мерине.

Я выпрямился, стараясь выглядеть старше своих лет:

— Готов, дядя Степан!

— Ладно, бери вожжи. Будешь моим погонщиком на пахоте. Лошадки у меня крепкие, справятся. А ты смотри, чувствуй их — они умные, подскажут.

Работа кипела. Солнце поднималось выше, пашня дышала теплом, а я, вцепившись в вожжи, старался не отставать от дядиных указаний. Каждый бороздок, каждый поворот — всё казалось мне тогда настоящим приключением.

К концу сева дядя Степан похлопал меня по плечу:

— Молодец, парень. Заслужил. Держи свои три рубля.

Я сжал в ладони монеты — они казались почти горячими. Целых три рубля! Для меня это было целое состояние.

Дома Алексей, старший брат, улыбнулся, увидев мои сияющие глаза:

— Ну-ка, покажи, что заработал? Ого! Так, значит, пора в лавку. Андрею и тебе — по новой рубашке да штанам. Праздничным, чтоб знали все — весна пришла, и жизнь начинается заново!

Когда мы надели обновки, Андрей покрутился перед зеркалом, расправил плечи:

— Смотри, братишка, будто и правда всё по-новому.

Я кивнул, чувствуя, как в груди разливается тепло. Рубашки и штаны и правда казались праздничными — как наша жизнь, которую мы начинали вместе с весной.

\*\*\*\*\*

К приближающимся пасхальным праздникам Алексей всё чаще выступал в роли главы семьи — принимал решения, распределял дела, заботился о порядке. К тому времени Иван уже женился второй раз и отделился, начав строить собственный путь.

Правда, «женился» — не совсем верное слово. Бедному Ивану уже второй раз в жизни пришлось жениться не по любви, а по необходимости и принуждению. Словно над ним какой-то злой рок навис по части женитьбы. Его, по сути, женил наш старший брат Фёдор. Он посватал Ивана к Машке Мелешкиной — «Сусловской» девке. Машка росла и воспитывалась у своего дяди — кулака Шиханова. Со временем она стала для него лишним ртом, и Шихан подбил Фёдора по пьяной лавочке на свадьбу.

— Ну что, Иван, приглянулась тебе Машка? — подмигнул Фёдор, когда сватовство уже было обговорено.

Иван потупился, пожал плечами:

— Да я её почти и не знаю...

— Зато я знаю, — твёрдо сказал Фёдор. — Семья — дело серьёзное. Не до любовей тут. Главное — чтоб род продолжался да хозяйство крепло.

Шиханов при сватовской сделке пообещал Ивану пёструю молодую корову в качестве приданого.

— Корова — это сила, — внушительно говорил он, глядя прямо в глаза Ивану. — Молока — море, да и на пашне помощница. Всё по чести, всё по совести.

Вместе с Иваном он поехал в гулевое стадо, чтобы показать обещанное имущество. Потом кулак водил их по двору, хвастливо демонстрировал добротные сараи и амбары, показывал скот — всё выглядело внушительно.

— Вот она, твоя будущая кормилица, — указал Шиханов на пёструю корову, мирно жующую сено. — Крепкая, молодая, молока даёт вдоволь. Твоя будет, как только свадьба отгремит.

Иван смотрел на животное с надеждой — корова и правда казалась отличной. Но, увы, после того как Шиханов выдал Машку замуж за Ивана, про обещанную корову словно забыл. Ни слова, ни намёка — будто и не было тех пышных обещаний.

Однажды Иван решил напомнить:

— Дядя Шиханов, а как же корова? Вы же обещали...

Кулак нахмурился, сделал вид, что вспоминает:

— Корова? Ах, корова... Да разве ж я обещал? Может, так, к слову пришлось. Ты, Ваня, не обижайся, но приданое — оно разное бывает. Жена — вот твоё приданое. Хозяйствуй с ней, да лад в доме держи.

Иван вернулся домой хмурый и злой, как собака. Алексей, заметив его состояние, спросил:

— Что случилось?

— Да ничего, — махнул рукой Иван. — Шихан про корову забыл. Или не забыл, а просто не собирается отдавать.

Алексей вздохнул, покачал головой:

— Так оно и бывает. У этих кулаков обещать — не значит сделать. Ну да ничего, Ваня. Корову мы ещё заработаем. А пока — учись с Машкой ладить. Хозяйство — оно не одной коровой держится.

Машка правда оказалась хозяйкой никудышной: не умела ни дом вести, ни с хозяйством управляться, а слово вовремя вообще не могла сказать. Но Иван, хоть и досадовал поначалу, постепенно начал привыкать — жизнь шла своим чередом, а впереди маячили пасхальные праздники, сулящие хоть немного радости и отдохновения.

Так и прожил недолгую свою жизнь мой любимый брат, Иван Лукьянович. Был он со своей Машей-Растеряшей, растеряхой да неумехой, ни много, ни мало, а семнадцать лет. Жили они непросто: то недостаток, то нужда, то радость, то печаль — как у всех в селе. Но держались друг за друга, помогали, поддерживали.

Судьба распорядилась жестоко: Иван погиб в Великой Отечественной войне, под Ленинградом, в страшных боях по деблокаде, что вошли в историю под названием Синявская операция. Он ушёл, как и жил, — честно, стойко, по-мужски. А Маша... Маша до сих пор пребывает в земном мире. Живёт одна, вспоминает прошлое, иногда приходит к нам, рассказывает о былом — голос её дрожит, глаза полны слёз, но в них всё ещё светится память о том, кого она когда-то полюбила.

О любимом брате Иване позже я напишу подробнее.

## Глава 19

### Коллективизация

Время не стоит на месте. 1928 год принёс новые ветра перемен. Крестьянские сходки стали частым и многолюдным явлением — люди собирались вместе, обсуждая судьбоносный вопрос: объединение единоличных хозяйств в коллективные. В воздухе витало напряжение: никто не знал, что принесёт будущее. Эти собрания были похожи на бурлящий котёл, где закипал страх перед неизвестностью.

Каждый крестьянин понимал: решение, принятое в эти дни, изменит ход истории, определит судьбу не только его семьи, но и всего села. Коллективизация становилась не просто экономическим экспериментом, а настоящей проверкой на готовность к переменам. И никто тогда не мог предугадать, какие испытания принесёт этот новый путь...

Степной вечер окутал село прохладным сумраком. В избе председателя сельсовета Савостина горела керосиновая лампа, отбрасывая на стены дрожащие тени. Уполномоченный от района, Тимофеев, нервно поправлял фуражку, поглядывая на хозяина дома. Здесь же, рядом сидел один из самых авторитетных на тот момент сельчан, мой дядя по отцу, Рожков Иван Парменович, участник империалистической и гражданской войн.

Они возглавляли колхозные движения в трёх селах: Новая Слобода, Моховое и Михайловка, которые надо было объединить в одно хозяйство. Сходки народа в каждом из сёл проходили по отдельности. Бурно, но безрезультатно. Мужичкий пытливый ум пытался проникнуть в суть нового дела, но темнота и невежество их сдерживали. Масло в огонь подливала кулацкая работа против коллективизации, она находила благодатную почву в колеблющейся крестьянской среде. Среди подстрекателей против колхозов выделялись свои «ораторы» и «вожаки».

— Товарищ Савостин, дело серьёзное, — начал Тимофеев, теребя край шинели. — Колхозы — это будущее нашего края. Надо объединять хозяйства, пока не поздно.

Савостин, крепкий мужчина с седой бородой, неторопливо налил чай в чашку и ответил:

— Будущее, говоришь? А как же моя кобыла? Она мне не просто скотина — она моя опора. Как её в колхоз?

Тимофеев вздохнул:

— Времена меняются, товарищ Савостин. Вон Иван Парменович уже возглавил колхозное движение в Моховом. Гляди, как они рванули вперёд! А мы всё топчемся на месте.

В углу избы кашлянул мой дядя, Иван, идейный большевик, прошедший гражданскую. Он наклонился вперёд, глаза горели энтузиазмом:

— Товарищ Савостин! Да почувствуйте вы глубину нового! Представьте: одно большое хозяйство, где у каждого есть работа и хлеб. Никаких забот о семенах, инвентаре — всё общее!

Савостин усмехнулся:

— «Всё общее» ... А если лентяй какой решит, что ему и так хорошо? Или вор завёлся — кто отвечать будет?

Тимофеев поднял руку:

— Есть порядок, товарищ Савостин, закон. Мы разделим людей на группы — те, кто пашет землю, те, кто за скотиной смотрит. Каждый знает свои обязанности. А супротив преступников будет милиция разбираться.

Иван добавил с воодушевлением:

— А ещё представь: Новая Слобода твоя станет образцом! Люди увидят, как хорошо жить в колхозе, и сами потянутся.

Но Савостин покачал головой:

— В каждом селе свои порядки. Вот ты говоришь Моховое и Михайловка... А там ведь бездействие царит. Бабы ворчат, что коллективизация — это конец их свободе. «Не «за» бабы» — так они говорят.

Тимофеев нахмурился:

— Это кулацкая работа! Это они пугают народ, чтобы сохранить свои богатства. Надо бороться с этим!

Иван вскочил со скамьи:

— Моя бы воля, я бы их всех к стенке! Тут вершится история нового времени, а эти мироеды-упыри вставляют палки в колёса делу мировой революции!

Савостин долго молчал, глядя в окно, где мерцали звёзды. Наконец, он произнёс:

— Хорошо. Я присоединюсь. Но с одним условием: моя кобыла останется со мной. Она — часть моей жизни.

Тимофеев широко улыбнулся:

— Товарищ Савостин! Если уж ты, глава сельсовета так рассуждаешь, что скажет простой мужик? Ты ж пойми, общественное надо ставить выше частного. Ты Маркса почитай или товарища Ленина!

Тут изба наполнилась тихим шумом голосов. Входили люди на очередную сходку для обсуждения предстоящих перемен. За окном свистел ветер, а в воздухе витало ощущение начала новой эпохи.

Начиналось собрание. На повестке стоял один важнейший вопрос: объединение единоличных хозяйств в коллективные. Мужики переглядывались, перешёптывались. Кто-то видел в этом шанс — вместе работать, вместе богатеть, сообща решать трудности. Другие опасались: а что будет с землёй, с лошадьми, с коровами? Не отберут ли нажитое годами? Не станут ли все равны в бедности?

Женщины стояли поодаль, слушали, вздыхали, крестились. Они думали о хлебе, о детях, о зиме, которая не за горами. Всё менялось слишком быстро, и никто не знал, что принесёт следующий день.

Часть крестьян с готовностью принимала новое: мужчины с твёрдым характером, привыкшие полагаться на себя, старались вникнуть в суть перемен, понять, как устроится жизнь дальше. Они смотрели вперёд, верили, что совместным трудом добьются большего. Но были здесь и те, кто боялся перемен. Многие цеплялись за привычное: свои наделы, лошадей, амбары. Их пугала неизвестность. Они жили по старинке, опасались потерять то, что наживали годами, и с недоверием относились к лозунгам о «светлом будущем».

Стоял гул. Слышны были тихие разговоры, что «всё отберут», что «колхоз — это кабала». Постепенно страсти накалялись. Кто-то кричал, что пора «идти в ногу со временем», другие возражали: «А как же наша земля? А лошади? А зерно?»

Среди тех, кто решительно поддерживал объединение, выделялись активисты. Один из них, пожилой крестьянин по прозвищу Бортник, вышел вперёд и начал говорить просто и убедительно:

— Братцы, поодиночке мы слабы, а вместе — сила. Земля одна, работать надо сообща. Не бойтесь нового — бойтесь остаться позади.

Его слова находили отклик у молодёжи и у тех, кто устал от нужды. Васька Кошель, известный в селе своей любовью к присказкам, ловко вставлял поговорки да прибаутки. Да вот только по невежеству своему путал их. Вместо «плюс к тому», он почему-то говорил «минус к тому». Васька начал речь, хитро прищурившись:

— Минус к тому, братцы, что ж получается? Мы, минус к тому, может и не против того колхоза. Но чтобы, минус к тому, коровку с лошадкой-то нам оставили. Минус к тому — в колхоз чтобы нас не уведили силой, тады мы, минус к тому, все пойдём в колхоз. А то где ж тут выгода простому мужику?

Степан Уламонов волновался не столько за лошадь да корову, сколько за привычный уклад жизни, за семейные отношения — особенно за свою супругу Агафью, в прошлом монахиню. Он хмуро рассуждал вслух, теребя край рубахи:

— Это как же получается, а? Бабы наши делаются «международными» — самовольно ходят на собрания, в кружки да на беседы. Моя-то монашка и в церковь-то ходить перестала, вот беда! Раньше-то всё по порядку: молитва утром, работа днём, вечер — с семьёй. А теперь? Собрания да митинги... Куда мир катится?

Первыми в колхоз записались самые решительные: Денисов Алексей, Гундарев Митрофан и одинокая многодетная женщина — Мыльникова Анастасия. За ними потянулась вся беднота, потом середняки, а потом и другие: кто из любопытства, кто по убеждению, а кто и просто за компанию.

На улице сразу стало оживлённее: по вечерам собирались кучками, обсуждали, спорили. Молодёжь горела энтузиазмом — им виделось светлое будущее, новые машины, общий труд на благо всех. Старики же качали головами, вздыхали, крестились: «Ох, не к добру это...»

Женщины делились на два лагеря: одни с гордостью носили значок колхозницы, ходили на собрания, учились читать; другие, покрепче держась за традиции, шептали: «Неладно это, не по-нашему...»

А Васька Кошель всё ходил по селу, вставлял свой «минус к тому», усмехался в усы и говорил:

— Видали, братцы? Мир-то наш, минус к тому, переворачивается. Да только, минус к тому, перевернётся ли правильно — вот в чём вопрос...

\*\*\*\*\*

Весной 1930 года вышла в свет сталинская статья «Головокружение от успехов». В ней осуждались перегибы в колхозном строительстве и подчёркивались принципы добровольности. После публикации статьи многое изменилось: те, кто не желал оставаться в колхозе, начали выходить из него. Они забирали своё имущество — скот, инвентарь, сбрую — и возвращались к единоличному хозяйству.

В селе началась ломка и развал колхоза: едва образовавшийся колхоз «Красный Восток» стал трещать по швам. Люди колебались: одни твёрдо решили уйти, другие ждали, что будет дальше, третьи пытались убедить соседей остаться.

Мы с Андреем привели с общего двора свою верблюдку — без уздечки и сбруи. Потом кое-как нашли старую шорку, постромки, вожжи. Всё это было ветхое, потрёпанное, но выбирать не приходилось. Скотинка шла неохотно, будто чувствовала нашу тревогу. Алексей, как глава семьи, не вмешивался в эти хлопоты. Он сидел за верстаком, мастерил что-то, сапожничал, привычно шутил, но в глазах читалась глубокая задумчивость. Видно было, что он переживает, взвешивает все «за» и «против», но не подаёт виду.

Под вечер зашёл к нам дядя, Иван Парменович. Разговор получился долгим и непростым. Дядя, человек бывалый и рассудительный, говорил в этот раз на повышенных тонах:

— Ах вы, лешие! Что позорите Рожковскую фамилию? Сейчас же ведите на общий двор верблюдку! Зачем забрали?

Алексей вздохнул, провёл рукой по лицу:

— Да я и сам не знаю, дядь. Вроде бы и в колхозе жить проще — вместе, сообща. А с другой стороны — своя земля, своя скотина, свой труд... Не привык я, чтобы за меня решали.

Дядя кивнул, помолчал, потом добавил:

— Верно говоришь. Только помни: к светлому будущему и всеобщему благосостоянию только сообща можно дойти. Или забыл, как вы по миру ходили, побирались? И кто вам выжить помог? Правильно — люди, а стало быть народ. Веди, говорю, верблюдку взад!

На улице уже темнело. В окнах соседних домов загорались огни, слышались голоса, скрип ворот, мычание коров. Село жило своей непростой жизнью, менялось на глазах.

Мы повиновались. Отвели на общий двор свою верблюдку. Так и стали колхозниками.

\*\*\*\*\*

Первым председателем нашего колхоза был назначен ленинградский рабочий, двадцатипятилетний Прокофьев. Помню его до сих пор как сейчас: мужчина лет тридцати пяти — тридцати восьми, среднего роста, крепкого, атлетического телосложения. Светловолосый, с открытым лицом и всегда чуть румяными щеками — видно было, что человек здоровый, выносливый. Подвижный, энергичный, общительный — он умел найти подход к каждому: и к старику, и к молодёжи.

Потомственный пролетарий, он выглядел совсем не так, как мы привыкли видеть деревенских мужиков. Носил строгий городской костюм и кожаную кепку — такая частица города в нашем селе. Держался прямо, говорил чётко, без деревенских присказок, зато с цифрами и планами на год вперёд. Таким я запомнил первого колхозного руководителя в своей родной Хорёвке.

— Товарищи, — начинал он на собраниях, — теперь мы — одна семья. У нас общий труд, общие цели. Кто работает — тот ест, кто не работает — тому помощи не будет. Но помощь будет тем, кто в нужде, а не тем, кто ленится.

Его слова звучали непривычно, по-новому. Кто-то ворчал: «Что он понимает в нашем деле? Город-то далеко!» Другие же, особенно молодёжь, слушали внимательно, кивали.

Председатель был человеком иного мира, но искренне желавшим сделать нашу жизнь лучше. Он пытался научить нас новому, при этом не всё получалось сразу, случались споры, недопонимания. Но Прокофьев не отступал. Он терпеливо объяснял, показывал на деле, а иногда и сам брался за плуг или вилы. Прокофьев чётко знал политику партии в отношении кооперирования крестьян и твёрдо проводил её в жизнь. Но в практических вопросах сельского хозяйства он был, скажем прямо, на уровне младшего школьника: многое понимал теоретически, но не всегда мог применить на деле.

Он часто обращался к членам правления с вопросами:

— Не пора ли сеять пшено? Сколько пудов зерна на десятину высевать? Куда лучше вывозить навоз — на ближние или дальние поля?

Бывало хомут на лошадь надевал клещами вовнутрь, выводил кобылу в оглобли головой к передку телеги, чего только он не творил по незнанию. Над ним, конечно, порой посмеивались — шутили во весь голос, подтрунивали добродушно. Но при этом уважали и признавали его авторитет. Видели, что человек старается, хочет сделать лучше, учится на ходу и учили мужицкой мудрости в больших и малых делах. Показывали, как правильно пахать, чтобы земля не истощалась, как определять сроки посева, как ухаживать за скотом, чтобы тот был здоров и крепок. Он слушал внимательно, запоминал, кивал и благодарил за советы.

Моя подростковая роль в колхозе была активной. Летом я работал в полеводческой бригаде: пахал, сеял, косил, помогал убирать урожай. Наблюдал, как опытные мужики управляют с плугом, как чувствуют землю. Зимой же я учился в школе и одновременно ремесленничал в сапожном цеху, который возглавлял мой брат Алексей. Брат был строгим наставником — не давал спуска, требовал точности и аккуратности. Но я не отказывался, знал, что без умения работать руками не будет крепкого хозяйства.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.